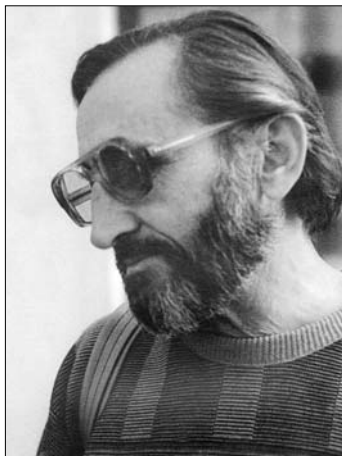


ЮРИЙ УБОГИЙ



ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ*

Очень давно сидел летом у открытого окна и читал дневник позднего Толстого. Часто там встречается слово Отец. Отец, помоги, Отец, не оставь... К Богу он так обращался.

То читаю, то в окно смотрю рассеянно и вдруг явственно представлять, чувствовать начинаю, что Отец-Бог есть. И всё во мне и вокруг меня меняется. Во мне покой радостный возникает и растёт, а за окном, среди деревьев, кустов и травы некая особенная ясность, яркость, полнота появляется, смысл некий во всём, ещё не понятный, но несомненный. В вороне пролетевшей, в пичужке порхающей, в бабочках белых над травой... Такое чувство, словно и меня, и весь мир окружающий к какому-то мощному и благостному источнику энергии и смысла подключили. И радость от этого, и покой в чудесной, волшебной, блаженной смеси. Исчезает же всё это вскоре после мысли: “Бога нет”. Энергия, всё менявшая и питавшая, исчезает, а в тебе и вокруг — всегдашнее, обыденное, плоское. Несколько раз я такое проделал мысленно: “Бог есть” и “Бога нет”. И перемена описанная происходила, но с каждым разом всё слабее, до исчезновения.

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В “Нашем современнике” публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

Продолжение. Начало в №10 за 2014 год.

Возможно, это и есть так называемый религиозный опыт, который в самой основе веры лежит. Бывает чувство присутствия Бога в мире, значит, верующий ты человек, хотя бы в короткие и редкие эти минуты. Быть бы им почаще и подольше. А у истинно верующих людей чувство присутствия Бога и поэтому радостного покоя постоянно быть должно, как глубинная основа жизни.

Живут у нас, в восьмиквартирном нашем доме, две старушки-соседки лет восьмидесяти примерно. Одна — “светлая”, а другая — “темная”. Первая очень слаба, согбенна, одинока, но приветлива, радостна даже. Вторая крепка на редкость, при двух дочерях, которые её навещают, и угрюма всегда, будто чёрным каким-то кошаком покрыта. Не знаю, как у них с верой дело обстоит, но думаю, что первая, скорей всего, с Богом в душе живёт, может, толком этого и не осознавая, а вторая — без Него, если даже и молится регулярно.

И ещё жила рядом соседка — старушка, уже умершая. Тяжело озабоченной почти всегда была, напряжённой, мрачной, а в последние годы перед смертью меняться начала на глазах. Такой свет вдруг в ней проступать стал, такая доброта, такая благодность и смиренность!словно другой человек на глазах рождался. Вот я теперь и думаю, что к Богу она приблизилась под конец.

* * *

Есть у Честертона мысль о том, что, если вы не верите в Бога, то не сможете любоваться красотой цветка, а если любуетесь, значит, верите. Нелепо, диковато даже на первый взгляд, а потом, понемногу, и резон некий начинает в этом проступать. Ведь мы не только формой и окраской цветка восхищаемся, но и премудростью, и искусностью Творца, который его создал. А если он, цветок, просто так, сам по себе существует, то ценность и прелесть его в наших глазах резко падает. Некое силовое поле творческое, божественное, которое делает цветок таким прекрасным, исчезает.

* * *

Встретил соседа, которому недавно исполнилось восемьдесят. Крепок на редкость, такой валун-валунчик, чуть замшелый. Он и говорит: “Вот, думаю, чужой век, может, заедать начал?” И взгляд у него при этом необычный, виноватый и словно бы надломленный. А через некоторое небольшое время он и умер внезапно в городском автобусе. И вспомнилось, что подобный “надломленный” взгляд я не раз у старых людей встречал. Возможно, он, взгляд такой, и появляется, как предвестник скорого ухода, вместе с мыслью о заедании чужого века?

Есть у Пушкина: “И наши внуки в добрый час // из мира вытеснят и нас”. Мы же не должны сопротивляться этому вытеснению. “В добрый час”, — так ведь сказано. Может, в подобную пору слышать начинает старый человек некий глас трубы: “Пора, пора!” И уходит.

* * *

Внучка Дарья уехала учиться в Смоленский медицинский институт, который закончили и сын, и внук. Недавно посмотрели на неё во время городского парада выпускников, как когда-то смотрели и на сына, и на внука, теперешних врачей. И мы с Ириной — врачи, и такая семейственность-потомственность приятна. Есть, по крайней мере, что каждому ответить на Страшном суде на вопрос: чем занимался? Людей лечил. Хороший ответ, простой и достойный.

На параде бросился в глаза рост чинов у милиционеров (теперь полицейских) в оцеплении. На первом, с сыном, были сержанты, на втором, с внуком, лейтенанты, а на третьем, с внучкой, целый майор напротив нас про-

хаживался. Если так пойдёт, то на параде с правнуками и генерала, пожалуй, можно будет увидеть. Жаль, не дожить...

Росла от парада к параду и затейливости, пышности, роскошности в нарядах и причёсках девиц-выпускниц. И вызывало это странную какую-то к ним жалость. Сколько мечтаний, усилий, поисков, радостей и разочарований было испытано-потрачено для того, чтобы быть не хуже других. Казалось даже, появившись в этом бальном, словно из давних времён девичьем шествии кто-нибудь в простеньком платьице ситцевом, вот оно-то и будет заметней и лучше всех.

А из собственного выпускного вечера запомнилось больше всего, что застолье проходило в том же классе, где и учились мы многие годы. То учебники с тетрадками были, контрольные работы, ответы у доски, а тут вдруг водка, вино, тарелки с картошкой, салом и красным, свекольным винегретом. Волшебное какое-то преобразование с греховным (так смутно чувствовалось) уклоном. Теперь, значит, можно, раз аттестат зрелости получили. И курить можно, что большинство парней и сделало в первый в жизни раз.

Курить выходили в коридор, угощая друг друга из одинаковых пачек “Беломорканала”, который удерживался потом в продаже в неизменном виде полсотни лет. Разговор же и за столом, и в коридоре вокруг одного и того же крутился — кто куда будет учиться поступать. Вот это только, возможно, до сих пор и удержалось с той давней нашей с женой поры. А пора-то важнейшая, не туда зарулишь — долго потом расхлёбывать ошибку придётся.

У меня, кстати, так и получилось — аж в Пятигорск заехал, в фармацевтический институт поступил. Соблазнил меня на это дядюшка по отцу комнатой отдельной и настольной чёрной лампой. Я как раз писателем решил быстренько стать, правда, неизвестно почему. Решил — и всё тут! Захотелось. А комната отдельная и лампа очень к решению такой задачи подходили. И город подходил, с Лермонтовым тесно, смертью самой, связанный. Глядишь, и это поможет — так чудилось...

Институт я бросил через две недели, и главная причина совсем уж дикая была: учились там сплошь девицы. Вот стыдно и стало целые годы в таком цветнике проторчать...

* * *

Отмечали юбилей сына в областной картинной галерее. К концу подошёл ко мне Валентин Михайлович Белов, скульптор, народный художник России, — проститься. Руку пожал со словами: “Встретимся в мастерской!” Работает он ежедневно, бюст сказочника знаменитого Ершова лепит для города Тобольска. А лет ему 85.

Был на юбилее и старый наш друг Дмитрий Дмитриевич Марков. Выставил, а потом и подарил сыну прекрасные фотографии. Их много, но на каждой одно и то же: сын в Крыму. Во время их совместного там пребывания в этом году фотографии сделаны, в походах по горам. А лет Дмитрию Дмитриевичу 84.

Кстати, взгляда “надломленного” я не наблюдал пока ни у одного, ни у другого, а ведь должен когда-то появиться, надо только дожить. Интересно, как у меня с этим взглядом? Сам не знаешь, а спросить нельзя — слишком дело интимное...

* * *

Взял машинально том Фолкнера, кем-то оставленный на тумбочке, раскрыл наугад, читать всерьёз совсем и не собираясь, и на какое-то время пропал: Лина из “Особняка” едет в поисках своего мужчины на повозках попутных, а кругом зной, пыль, хлопковые поля, лачуги издольщиков... Очнулся в том же кресле, у той же тумбочки. И вспомнилось, как лет тридцать назад пришёл в обеденный перерыв домой, поел плотно и, мучаясь от лет-

ней жары, присел в кресло. От одного представления о второй половине рабочего дня тошнило. Взял том Бунина со стола рядом, раскрыл, где придётся, попал на “Худую траву”, к умирающему крестьянину Аверкию, да так и пробыл с ним до самой его смерти.

Вот один из верных признаков великой прозы: берёт она читателя мягко и плотно и к себе, в себя властно переносит. И держит, пока он не дочитает до конца или не вырвется силой, ошеломлённый и чуть уже другой, чем раньше.

И ещё похожее. Погас свет в разгаре какой-то интересной телепередачи. Пришлось зажигать свечку, брать книгу, какая подвернулась, и садиться к столу — читать. Оказалась “Война и мир”, примерно середина. Тут и освещение, наверно, помогло, скудость его и локальность, от всего постороннего отгораживающая: в такую глубину вдруг ушёл, как провалился, в такую мощь, в такую жизнь! Когда же свет вспыхнул, то так не хотелось к своей “интересной” передаче возвращаться. Но ведь вернулся!

* * *

Теплота самобытия... Сказал это философу Катагощину, и он оживился: интересно-де и даже глубоко. Какой-то центр жизни тут и главная её приманка.

А недавно узнал, что 10 процентов пенсионеров из дома не выходят, а пять постели не покидают. Тяжко, конечно, так жить, но ведь и утешение, и радость даже порой в такой жизни есть — вот эта самая теплота самобытия, она, в конечном счёте, прежде всего к жизни привязывает, и потерять её — жизнь потерять. В самой тяжёлой болезни, в самой глубокой беспомощности она чувствоваться должна — тёплый ты, значит, живой. Тогда, если сознание вполне сохранено, Бог к человеку ближе всего — так думается. Всё далеко отодвинулось или совсем ушло, Он, Единый, в тебе и над тобой. Есть у Бунина стихотворение, и страшное, и утешительное одновременно, последнее самое у него: “Никого в подлунной нет, // только я да Бог. // Знает только Он мою // мёртвую печаль, // ту, что я от всех таю...” Дожить только до этой встречи надо с верой в душе.

* * *

Из рассказа старого моего друга перед самой у него серьёзной операцией, когда он детство и юность вспоминал. Интересная, кстати, черта и довольно типичная: вспоминать такое в опасные минуты.

Ехали они вдвоём с матушкой в войну из костромской глуши в родную Калугу и ведро со свиной везли. И справка у них была, что матушка, врачом работавшая, имела на содержании поросёнка. О том, в сущности, что мясо своё, трудовое, а не ворованное или спекулятивное. Вот это был контроль! И страшок, и одновременно восхищение вызывает.

“Как же я этого поросёнка ненавидел!” — друга слова. Потому что кормить самому приходилось его постоянно. Билетов на станции не было, и уехать не могли, пока лейтенант-железнодорожник не сжалился и не пустил их в вагон, открыв дверь каким-то трёхгранным ключом. Так и вижу и лейтенанта, и этот ключ, и чувство тогдашнее друга моего испытываю: строга, сурова Родина, но вдруг и добра...

* * *

Никто не доволен своим состоянием, но все довольны своим умом. Вспомнишь английскую эту поговорку и улыбнёшься невольно. Правде, в ней выраженной, улыбнёшься. Ну, как, в самом деле, недостаток ума в себе признать, есть в этом что-то даже неестественное. Это ж надо из свое-

го же ума выйти и на него со стороны исхитриться посмотреть и оценить. Целый трюк акробатический получается, сальто-мортале какое-то. Так же трудно и тоже неестественно кого-то умней себя признать. Тебе ведь твоего ума вполне хватает, а если у другого вроде бы побольше, то это подозрительным представляется. То ли заумью какой-нибудь, то ли чем-то даже порочным, “от лукавого”.

Впрочем, если некая добавка к уму у тебя существует, то признать умственное превосходство другого человека гораздо проще. Пусть, скажем, он, другой, умнее, но ты зато талантливее, или красивей, или богаче. Или же на у тебя красавица и дети ангелы...

* * *

Жил я сорокапятилетним одиноко в Москве, и нашёл меня там Валерка Юрасов, друг детства с детсадовских аж времён. Оказались мы, в конце концов, у него в общежитии, где, похоже, он был единственным случайным постояльцем. В комнате — голые кровати с рулонами свёрнутых матрацев на них... Бомжовская такая картина. Так мы и спать легли под утро — снизу матрац и сверху матрац.

Утром, ещё среди матрацев лёжа, неожиданно разговорились с откровенностью не хмеля уже, а дурного похмелья. Я и сказал, что хотел бы в Тим (посёлок, где мы росли), приехать, спиться там и под забором умереть. Валерка, который в Тиму так жить и остался, был, конечно, сильно удивлён, но и обрадован. Поверил на какое-то малое время и желанию моему, и возможности его осуществить.

Жил я в ту пору вполне благополучно, и впереди никаких обвалов житейских никак не предвиделось. Так откуда же желание такое дикое? На хмель и похмелье я никак не мог его списать, потому что чувствовал его органическую реальность. Пусть совсем маленькое оно было, это желание, но очевидно естественное и живое.

Теперь же вот вспомнилось всё это в какой-то вполне понятной простоте. Вернуться к началу я хотел всего-навсего, круг жизни замкнуть. Так из дальних краев на родину люди иногда возвращаются, чтобы в родную землю лечь. Да, но зачем спиваться-то и умирать под забором? А для постепенности и полноты слияния с родиной, так можно ответить.

* * *

Время от времени, чаще всего осенью, встречаю в нашем прекрасном, живописном овраге с ручьём хорошо знакомого художника Арепьева. И вчера встретил — сидит, как всегда, под огромным синим зонтом, в одежде такой ладной, надёжной, полувоенной, и этюд пишет. На этюде точно то же, что и перед глазами, только лучше чем-то трудно уловимым. Светом, наконец догадываюсь я. День предзимний, серый с пятнами снега на умершей, чёрно-рыжей траве, а на этюде всё словно подсвечено из глубины — и склон оврага, и бережок ручья, и вода в нём. В натуре его нет, света, а на этюде есть. Так откуда же он? А из души художника, догадываюсь ещё раз, — ровный такой, умиротворённый свет.

Переговариваемся неспешно, а художник и работать продолжает: то там мазочек положит, то здесь. Я уже и озяб, а уходить не хочется: аура покоя, которая окружает Арепьева, удерживает. Всегда она при нём, хоть во время работы, хоть просто так, при любой встрече.

В последние годы он пейзажи прекрасные, классические, пишет, а не так давно модернистом-авангардистом был. Пилы двуручные расписывал, доски узенькие. Фузинки, по его определению. Прекрасно получалось, примитивизм такой с юмором добродушным. В ту авангардную свою пору он и самого себя однажды на выставке выставил — приклеил к стене выставочного зала лентами скотча. Так и стоял с непоколебимым своим спокойствием.

А вот теперь весь этот “модерн” и “авангард” он оставил и вернулся к тому, с чего и начинал, — к пейзажам с природы. И я догадываюсь в третий уже за эту встречу раз, что возраст его к такой перемене скорей всего склонил. Седьмой ему десяток, уход уже не за горами, вот он к природе-погоде вновь и причалил. К тому именно, куда уходить.

* * *

Видел по ТВ встречу наших и английских моряков, участников Северных конвоев из Англии в Мурманск в войну. Какая бьющая в глаза разница: ухоженные, холёные даже лица англичан и изношенные предельно, корявые, шершавые, перекошенные какие-то лица наших. И нелепая из-за этой разницы неприязнь к англичанам, и за наших обида, боль и стыд. А, в конце концов, внезапная, острая, режущая к нашим морякам любовь. К лицам их этим, в которых такая яркая, светящаяся прямо-таки жизнь! Как книгу её можно понимать — читать. Можно читать её и по английским лицам, только в них она скучней и тусклее. Уверен, что это не только от того, что я в такой оценке поневоле пристрастен. Посторонний вполне, никак не заинтересованный человек мог бы тоже эту разницу увидеть и ощутить.

* * *

Прочитал “Избранное” Юрия Кузнецова и подумал твёрдо: великий поэт! Когда же раньше читал много раз его стихи, то думал всего лишь — крупный поэт. А разница такая в оценке потому, скорей всего, что он умер десять лет назад, и за эти годы перечитал я его впервые. Ушёл он к Богу, в небеса, и тем значение поэзии своей как бы приподнял резко.

Живой художник окружающими редко понимается как великий. И сам он, со всей его требухой житейской, повседневной, и жизнь его, такая неизбежно обыденная, настоящей, “объективной” оценке мешает. Взгляд на его творчество всем этим затуманивается, замыливается. И известное выражение “нет пророка в своём отечестве” по той же, наверное, причине возникло.

И ещё впечатление — как же он, Юрий Кузнецов, был чудовищно одинок! Словно стоял всю жизнь посреди родной своей, беспредельной кубанской степи, а вокруг никого. Лишь стихии бушевали — то природные, первозданной, геологической какой-то, мощи, то общечеловеческие с катаклизмами войн и революций, то любовные, где тоже война вечная природы мужской и женской. Разве Лермонтов лишь был так одинок, но ему хоть молодость держаться помогала...

* * *

Влюблённость, очарование, разочарование... Путь чувств, знакомый, наверное, каждому. Знакомый и даже неизбежный, если длится достаточно долго, надо только дождаться, дойти. Но если человек по-настоящему для тебя талантлив, то программа эта даёт вдруг сбой. Как со стихами или с музыкой, или с живописью того, в ком ты разочаровался, быть? Они-то не изменились, не стали хуже? Решить, что в человеке ты разочаровался, а в его искусстве нет? Но ведь оно, искусство, самое главное, стержневое в этом человеке, а значит, и разочарование настоящее невозможно. Если искусство любить продолжаешь, значит, продолжаешь любить и художника-человека в самой глубине души.

Получается, что талантливые люди некую защиту, гарантию от разочарования в них имеют, и даётся она им за отвагу быть самими собой. А это и есть та песчинка, вокруг которой жемчужина таланта нарастает, и отпечаток её в словах, звуках, красках есть отпечаток именно самобытности, непо-

вторимый, как отпечаток пальцев. И вот эту-то самобытность неистребимую и любишь, и никуда от неё не денешься.

* * *

К мусорным бачкам подъехала машина — огромная, ярко-оранжевая, поблескивающая свежей краской. Из кабины выпрыгнули (именно так) два парня в новеньких, оранжевых комбинезонах и начали с бачками работать — катать, цеплять, отцеплять. По-спортивному быстро и точно всё у них шло, словно на секунды счёт времени был. Сначала я смотрел на это с недоумением, а потом понял — работать им так легче и интереснее. И в кабину они не влезли, а запрыгнули и уехали быстро. Молодцы ребята, живинку в своей малопрестижной работе нашли и ею утешаются.

К мусору же отношение у меня сложное. Злит не на месте выброшенный, до зубовного скрежета, но чем-то ведь и привлекает. Даже и нечто поэтическое, метафизическое порой в нём чудится, как в песке, воде текущей, снеге идущем... Исход, конец всему, что человеком бывает сделано. И с какой силой художественной писал о мусоре Андрей Платонов, и Андрей Тарковский его показывал. И почему-то всегда под слоем воды прозрачной — банки, склянки, железки мелкие... То ли от детских ещё впечатлений сильных это у него было, то ли символика некая подразумевалась. Мир был создан кристально чистым, как вода, а мы его изгадили, — так примерно.

Сортировка же мусора, которая уже у бачков начинается, напоминает спасательную операцию: вот это ещё так или иначе послужит, его спасём, а это уничтожению подлежит. И что тут важнее, сразу и не скажешь.

Вывешивают у бачков одежду, вполне ещё к употреблению годную, обувь крепкую в сторонку ставят... Если походить к бачкам неделю-другую, то можно и приодеться, и франтом по послевоенным нашим понятиям выглядеть. А ведь случается ещё и мебелишка, и телевизоры, и машины стиральные, тоже в сторонку, как обозначение их ещё годности, поставленные...

Мусора же в послевоенные годы как-то и не вспоминается. Всё использовалось-изнашивалось до исчезновения почти. Николай Фёдоров, известный философ-аскет, любил повторять пословицу: “Не гордись, тряпка, ветошкой станешь”. Но ведь и ветошка была ещё к чему-то годна, иначе б и обозначения — имени обиходного — не получила...

* * *

Забрался в троллейбус хмельноватый мужичок со здоровенной замороженной треской. Без обёртки, в голом, так сказать, виде. Тётка-соседка стала его ругать за это. Слушал он, слушал смиренно и, наконец, заговорил: “А ты! — начал и замолчал, затруднившись в продолжении. — А ты! — опять пауза, а окружающие притихли в ожидании. — А ты головка змеиная!” Все так и грохнули, признавая тем победу за мужичком.

В обочинной пыли на нашей окраине играют двое мальчишек, грязных, затрапезных, и подходит к ним третий, вполне ухоженный такой. Один из играющих посмотрел на него и сказал презрительно: “Уйди, лицемер!”

И ещё можно вспомнить нечто похожее, когда врывается вдруг в ситуацию вполне обыденную словцо-другое издалека и, как вспышкой, освещает её иным, таинственным даже каким-то, светом.

Владимир Богатырёв, старый мой друг и прекрасный прозаик, гостил в детстве в орловской деревне у бедной очень тётки-колхозницы и залез с ложкой в запретный горшок со сметаной. Тётка (любимая его тётка!) это заметила и сказала: “А ведь ты, Вовка, *интересант*”. Не интерес же к сметане она имела в виду, а иное что-то, гораздо крупней и важнее.

Случается нечто похожее и без слов. Есть у меня в нашем околотке знакомец, молодой ещё пенсионер по причине вредной работы. Сварщик или, как он говорит, “сварной”. Живёт один и спивается прямо на глазах. Хоро-

ший мужик, да еще и красавец могучий. Так вот, закуривает он у меня время от времени при встрече. Предложишь взять не одну сигарету, а побольше — замрут его пальцы на мгновение над пачкой и вытаскают всё-таки одну. И я понимаю, что это принципиально для него важно: будешь по несколько сигарет вытаскивать, значит, начал “шакалить”, а он до этого ещё не упал, что и обозначает и для меня, и для себя тоже.

* * *

Недавно особенно угрюмое, тоскливое было настроение, и книгу захотелось на ночь почитать потеплей и поживее. Взял рассказы Василия Белова, прочитал “Весну”, “Скакал казак”, “Мальчиков”. Вологодская деревня, конец войны... Тяжесть работы и жизни героев предельная, каторжная прямо-таки, но ведь согрело! А потому что жизнь живая в рассказах, а она остаётся тёплой даже на самом-самом краю...

* * *

В толстовской “Смерти Ивана Ильича” Иван Ильич спрашивает в отчаянии кого-то, неизвестно кого: “Так зачем же всё это было?” — имея в виду прежнюю жизнь. И ему словно бы отвечает этот кто-то: “А так, ни за чем”. Ответ совершенно толстовский по нагой, беспощадной простоте. Жуткий прямо-таки ответ, но иного вне веры, вне Бога и дать, пожалуй, нельзя. Для потомков всё было — так если ответить? Но они, потомки, так же на него будут в свою очередь отвечать, то есть на своих уже потомков ответ перекладывать. И вопрос, в сущности, так и останется без ответа или всё к тому же страшному приведёт: “Ни за чем”.

Но есть в жизни моменты, когда вопрос этот не то чтобы ответ получает, но просто снимается, как ненужный, лишний, праздный. Улыбка ребёнка радостная, к тебе обращённая, например. Вот для этой улыбки всё и было — так можно ответить. И для твоей ответной, если она радостной была. Есть и другие случаи в жизни, которые вопрос этот страшный снимают, и находят они в том же примерно слое радости и любви.

* * *

Душевная жизнь людей изучена психологами и глубоко, и подробно, и со всех сторон. И читать про это интересно, много информации получаешь и о себе, и о других. И остаёшься при чтении совершенно спокойным в своей собственной душе. А вот если читаешь именно об этом в прозе настоящей, художественной, то какое уж тут спокойствие! Отклик, сопереживание, напряжение душевное... Потому что глубже тут, тоньше, ярче? Отчасти и так, но главное в другом. В художественности текста, а её голос автора создаёт, голос Пушкина, Толстого, Чехова... Нет голоса — нет и художественности зачаровывающей, а есть лишь информационный текст. Та же самая разница между фотографией и картиной художника, написанной с той же самой натуры. Тут тоже “голос”.

Проза же самых больших, гениальных писателей узнаётся по нескольким всего фразам и опять по голосу. Аскетически-нагому у Пушкина, эпически-могучему у Толстого, печально-безнадёжному у позднего Чехова...

* * *

Любовь внесли недавно в классификацию болезней, принятую Всемирной организацией здравоохранения, и присудили ей шифр F63,9, а в двух штатах Индии запретили браки по любви из-за слишком большого при этом

количества разводов. Глядишь, плюнет на нас любовь из-за дел таких да и уйдёт куда подальше...

* * *

“Развязывается узел сердца” — из какого-то древнего восточного текста. О смерти, конечно, сказано. И как человечно, смиренно и даже художественно. И само сердце с этим словно бы соглашается: да, развязывается мой узел, и ничего тут не поделает. А как и когда он завязался — в утробе материнской или сразу после рождения — Бог весть!

Поразительно, что появление первых сгущений материи, “узлов” именно было одним из важнейших и изначальных моментов образования и развития Вселенной. Всё стало завязываться в “узлы” — вплоть до Земли, до жизни на ней и до человека. Великое такое соединение произошло, великая встреча. В конце же Вселенной по одной из двух всего космогонических теперешних теорий будет великое прощанье, когда исчезнут, “развяжутся” все “узлы” и останутся лишь элементарные частицы в вечном холоде и мраке. А вот в это не верится никак. Тут даже человек религиозный и атеист сблизятся, если не сойдутся: не может быть, чтобы всё стало, в сущности, ничем. То же самое человеческое сердце, само готовое “развязаться” со смирением, в это не верит.

* * *

Сороки к жилью из леса вернулись — каждую осень такое происходит. Иногда это замечаешь в пору первого снега, и кажется, что они его и принесли чёрно-белой своей пестротой.

Вспомнилось вдруг, как в студенчестве, будучи в колхозе на уборке кукурузы, попытались мы с приятелем сороку из ружья подстрелить. Совершенно дикая затея, но ведь было!

Долго ходили за маячившими вдалеке сороками, но на выстрел они нас так и не подпустили. Мужик, хозяин наш квартирный, объяснил потом, что это они ружья боялись, а если быть с пустыми руками, то подпускают гораздо ближе.

В конце позапрошлого уже века великая охота вдруг на сорок в России пошла — перья их на женские шляпки понадобились. Ну, тут хоть резон какой-то был, а мы-то зачем свою охоту затеяли? Ведь и ружье просили, и таскались потом с ним по буграм на виду у всей деревни. Неужели не стыдно было? Стало быть, нет, иначе б такого и не затеяли. Не верится теперь, но картина, вот она, перед глазами: косогорчик бурый, сарай заброшенный на нём, а рядом сороки прыгают и перелетают. Никуда не денешься, было...

И ещё вспомнилось. Лет 25 назад попал случайно на охоту на вальдшнепов. Ружья мне не досталось, просто так смотрел. Вылетает из-за кромки леса на поляну небольшая птица с особенным, дребезжащим каким-то, звуком, летит, снижаясь, на фоне вечернего, закатного неба, и тут-то её и сбивают. Но ведь не просто так птица летит, как мне тут же рассказали, а к самке, сидящей на поляне среди травы. Лучше б не рассказывали, настолько меня это задело.

Потом, в охотничьем домике уже, добычу охотники разглядывали, перья особенные из крыльев выдергивали. Нужные зачем-то, уж и не помню, зачем. Может, для тех же шляпок женских...

Подвыпили, и кто-то меня спросил о впечатлении от охоты. Ну, я и ответил. Представьте, говорю, что кто-то из нас на свидание с дамой идёт. Спешит, уже её и видит, и вот тут-то его и пристреливают... По окаменевшим вдруг лицам охотников и молчанию всеобщему понял, что бестактность сделал ужасную. Выручил меня егерь. Если б ружьё у вас было, сказал, то вы бы так не рассуждали. Тогда я не возразил, конечно, да и теперь думаю, что егерь был прав скорей всего, потому что ружьё в руках вещь особенная, опасная и даже страшная.

Стрелял я из ружья (из ружья именно) единственный раз в жизни, дома на студенческих зимних каникулах. Пошли вчетвером в лес с одним ружьём

на всех. На охоту — так мы, дураки великовозрастные, это для себя определили. А дичи, конечно, никакой и нет. Ружьё как раз у меня было, когда кто-то на птичку на ветке указал. Я и пальнул, не успев даже подумать, что делаю. Определить же, что за птичка, оказалось невозможным: комок перьев окровавленных под деревом лежал...

* * *

“На меня нацелилась груша да черемуха // — силою рассыпчатой бьёт меня без промаха”. Начало небольшого стихотворения Манделъштама (всего восемь строк), которое давно знаю и люблю. О чём оно? Точно-то не скажешь, как и всегда о настоящих стихах. О жизни. О смерти. О борьбе их вечной между собой.

Удивился, прочитав в воспоминаниях Натальи Штемпель, что жена Манделъштама сказала ей однажды: “Это о нас с вами, Наташа”. Ничего даже отдалённо похожего в стихотворении нет, а вот поди ж ты! Перечитал его, подумал — и вполне поверил. Непонятным только осталось, кто из них двоих “груша”, а кто “черемуха”. Да и то догадка забрезжила: “черемуха” — Штемпель, скорей всего, потому что вслед за этим идёт стихотворение, ей посвящённое, со строкой: “Есть женщины сырой земле родные...” У черемухи же как раз запах тления сладковатый.

Вот и пойми без подсказки, что написал поэт стихотворение о жене и молоденькой женщине Наташе, к которой, похоже, испытывал чувство влюблённости. Много у него таких “непонятных” стихов, где нечто большое, важное, бытийное выражено через житейскую, предметную конкретику. И стихотворение, словно ракета, запускается от самой-самой земли в самое-самое небо.

* * *

Истинная радость беспричинной быть должна или, точнее, иметь одну причину: то, что ты живёшь, первый и главный дар от Бога имеешь и в воле Его благой находишься. Такая радость сильней и чаще всего в детстве и старости бывает, когда заботы житейские или ещё не замутили её в начале, или уже отпускать стали в конце. По лицам это заметно вполне. В детских радость очевидна, а в старческих прикрыта привычным за долгую жизнь выражением озабоченности повседневной. Но в разговоре со старым человеком она, радость, часто прямо-таки вспыхивает тебе навстречу, напоминая ту самую, детскую, такую уже давнюю. Смыкается тут начало с концом, и в этом благо великое. Правильно, стало быть, жизнь прожита, с Богом и в Боге.

В зрелые годы способность радоваться ещё и страхом бывает придавлена по соображению житейскому: очень порадуешься, смотри, как бы очень погоревать не пришлось. В отместку, для равновесия. Поэтому ещё и мужество нужно для радости, подспудное, неосознанное. А ещё глубже — к Богу доверие. Что Бог ни делает, всё к лучшему — так говорится. Если даже это тюрьма или сума. Кстати, в “Архипелаге ГУЛаг” есть слова Солженицына о том, что лагерные годы были одними из лучших в его жизни.

* * *

Венедикт Ерофеев в эссе о Розанове пишет, как он покончить с собой решил, даже пистолет приготовил, да вдруг читать книгу Розанова стал. И передумал стреляться, слова Розанова как бы услышав: “Живи, Ерофеев, раз родился, чего там...” И у Дмитрия Галковского, автора “Бесконечного тупика”, та же самая ситуация описана с теми же почти самыми розановскими словами. Удивительно, что они, такие разные, именно на Розанове

в этом интимнейшем деле сошлись. Потому, пожалуй, что жалость Розанова к людям огромной, до безразмерности, была, всех людей без разбора покрывала. “Каждый человек достоин жалости” — его слова. А жалость настолько близка любви, что в народном понимании её и означает. Вот и получается, что потенциальный самоубийца, узнав, что его кто-то пожалеть и полюбить готов, намерение свое ужасное вдруг если уж не отменяет, то, по крайней мере, откладывает.

“Все мы несчастные сукины дети” — Фолкнер. О том же самом, в сущности. Раз дети мы сукины, да ещё несчастные, то жалости все и достойны. А там, глядишь, и любви.

* * *

Интересно бы выбрать нейтральные по содержанию, маленькие кусочки прозы разных писателей, пейзаж, скажем, какой-нибудь летний или зимний, и посмотреть, насколько они, кусочки, разнятся между собой. Насколько говорят о том, кто их написал? И окажется, уверен, что самые-самые большие писатели будут угаданы с первого же, быстрого прочтения. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Шолохов, Платонов...

И узнаешь, и не перепутаешь никак. Но почему, ведь подсказки со стороны содержания нет, природа-погода всего-навсего? А потому что слова употребляются разные, из собственного, своего писательского набора, и стоят они у каждого писателя в особенном, своём ряду. Главное же, конечно, — голос писательский, который хоть и не звучит, а всё-таки слышится — в тебе самом, читателе, при чтении. Вот тут-то вся тайна, вся суть художества, прозы высокой и заключена — в голосе этом. Индивидуален он и неповторим. Это именно и захватывает, прежде всего, при чтении, резонирует душа читательская и начинает звучать в ответ.

* * *

Шлейф метельный за краем крыши висит, треплется на ветру, то плотный, то тонкий, прозрачный, исчезающий почти. Всегда зрелище это за душу цепляло, особенно вечером, при свете окон или фонарей. Целый набор есть вот такого, “цепляющего”, и несёшь его через всю, в сущности, жизнь. И какой же он разный: то полевой, то речной, то небесный... Но должно же в нём, наборе, и что-то общее быть, раз “цепляет” как-то похоже, одинаково почти — тягучей, слабой и далёкой, как воспоминание, странно-приятной болью. Для меня это общее — зыбкость, краткость того, что видишь. И боль, может, именно от этого: вот есть оно, тебя “зацепившее”, а вот уже и нет. И вернётся ли когда-нибудь — неизвестно...

С пониманием и некоторым даже удовлетворением узнал недавно, что японцы ценят зрелище цветения сакуры ещё и за то, что оно кратковременно. Несколько всего дней — и всё.

* * *

Бывший начальник Бутырской тюрьмы, показанный по ТВ полковник внутренних войск, — лицо угрюмое, свирепое даже, в речи словечки проскакивают из уголовно-блатного жаргона, голос низкий, сипловатый. Вдруг улыбается — и такая вспышка яркая света и доброты, глаз потом уже от него не оторвать из-за этого...

Знаком я был когда-то с двумя воспитателями в детских колониях и преподавательницей литературы там же, напоминающих полковника по доброте. Самое подходящее для них всех место, ведь не просто преступники кругом, а “несчастные”, по народному определению. К ним-то, прежде всего, и надо с добром идти.

Но приходилось встречать в колониях и тюрьмах и иных совсем работников в мундирах, от лиц которых взгляд отдёргивался прямо-таки. Злоба в них была то откровенная, то прикрытая чуть. И таким колония и тюрьма тоже вполне подходят для самореализации, они туда, похоже, для того и идут. Нигде, может быть, добро и зло людское не встречаются так обнажённо и прямо, как в местах заключения. Сходятся полюса. А между ними, конечно, переходный, основной слой людей, в которых добро и зло перемешано в самых разных пропорциях, как и в жизни вообще.

* * *

Вдруг напомнили мне, что вино с водой, которое дают после причастия, называется по-простому, по-народному “теплота”. Кровь Христа, вино жизни новой. Пусть и кажется нам, что мы сами по себе живём, одиноко, но ведь и чувствуем то слабей, то сильнее эту “теплоту”, эту связь с Богом, Творцом всего... И нас тоже.

* * *

На днях пришлось быть в гостях в доме, уцелевшем с царских ещё времён. Солдат Незнамов им владел за верную и долгую службу. Дом перестраивался не раз, но дух, суть свою старинную каким-то чудом сохранил. И стоит чудесно — самый центр города, тихое место, Ока в двух шагах, виды вокруг прекрасные. Был сочельник Крещенья, и от трёх церквей сразу перезвон праздничный слышался. А ещё ведь и сад при доме с двумя кедрами до неба...

Есть Родина — страна родная, есть малая родина — место, где родился и хотя бы детство провёл, но есть и родина мельчайшая — вот такой дом. Да если ещё в нём всю жизнь прожить!

Когда же придётся вдруг покидать его, то это ж как по живому резать! Вот люди в таких случаях и держатся за свои дома из последних сил, до крайнего самого предела. У двух моих близких знакомых матери на десятом десятке лет переезжать из таких домов наотрез отказываются и живут в них одиноко. И трудно такое представить, и понятно оно вполне. Дом второй кожей становится, вот и попробуй её снять...

Перестраивая дом, теперешний хозяин много чего обнаружил: изразцы с узором, замки, ключи, кованые гвозди, скобы, рукоятки щеколд, подкову... Разместил на бревенчатой стене эти вещи-вещицы мусорные, бросовые, и такая в них вдруг проступила давняя жизнь — глаз не оторвать!

Сталинград, кстати, дешевле, легче и проще не на прежнем месте было возрождать, а в стороне, в чистом поле, но возродили всё-таки на прежнем, и правильно сделали. Обжитое место — как церковь намоленная. Дух жизни самой возрождению погубленного помогает.

Хозяин же дома, изначально солдатского, ремонтируя его, оставил кое-что в первозданной наготе — балки потолочные, брёвна стенные, кладку кирпичную. И как же всё это радует и греет взгляд, уставший от ледяного, отталкивающего блеска современной пластиковой отделки.

* * *

Январь, мороз, безветрие, солнце. Дни-подарки.

Нужно было нечто вроде букета или икебаны смастерить из зимних растений ближних, подручных. Чуть не охапку набрал, а оставил лишь корявую, затейливо изогнутую ветку сливы и давно завядший, огромный цветок гортензии, шапку такую тёмно-серую. Получилось, по-моему, чудесно, лучше и не делал никогда. Раньше, лет, скажем, десять назад на такой аскетизм, пожалуй, и не решился бы, а теперь возраст позволил. Возраст, в ко-

тором всё почти вокруг представляется чудесным — и ветка нагая, корявая, и цветок, давно засохший. Всем можно любоваться, потому что всё творение Божье есть. И вот этот сдвиг в восприятии окружающего глубокое даёт удивление как знак того, что путь души правильный — к Богу.

* * *

Рядом с участком в овраге, где мы в лихие девяностые выращивали на прокорм картошку, вдруг провалилась земля, кусок её семь на семь примерно метров и в глубину метра три. Удивительная картина, никогда ничего похожего не видел. Даже что-то символическое, адское что ли, в ней есть. И пожелание житейское, злобное вспомнилось: “Чтоб ты провалился!” Оказывается, вполне может такое быть. Стоял, стоял человек, да и провалился, исчез с лица земли...

Понятно, что пустота тут карстовая образовалась, вот в неё кусок земли и рухнул. Понятно, но всё равно жутковато от возможности попасть вот в такое “нужное место, в нужное время”... Хотя и крайне мала такая возможность, но ведь и реальна! И мысль о расплате за грехи может прийти даже и неверующему человеку. По пословице: “Бог шельму метит”. В старинном городе Ельце до сих пор рассказывают, как в давние времена провалилась на кладбище могила купца Талдыкина. И уж, конечно, добавляют, что купец этот большой жулик, большой грешник был.

Когда смотрел на “провал земли” в овраге, то вспомнилось, как в детстве выкопали мы, тоже в овраге, пещеру довольно большую, длиной до трёх-четырёх метров. “Штаб” для своей компании-команды там устроили и даже кое-какое барахлишко держали и добычу от набегов на сады. Вспомнил, и не по себе стало: ведь рухнуть бы могла такая пещера в любой момент. Вот сидим мы, двое-трое, в тайнике своём укромном, прохладном в жару, уютном, своими руками созданном, наслаждаемся — и вдруг исчезаем совершенно из мира живых, родных людей. Про обвал-то они бы и не узнали — место далёкое, глухое, никем, кроме нас, не посещаемое. А если б и нашли нас в конце концов, откопали, то о грехах, конечно б, не подумали. Не за яблоки же ворованные наказание такое...

Чувствуется в некоторых смертях привкус судьбы, рока — в земле, вдруг провалившейся под ногами, в сосульке с крыши, а то и в метеорите, на голову упавшем. И такое ведь возможно, хотя бы теоретически...

* * *

Есть в дневниках Пришвина поразительная запись, сделанная в самое тяжкое для него время, о том, что ему хочется уйти подальше в лес, выбрать самое глухое, малодоступное место, лечь там и лежать, пока не умрёшь.

Дело очень трудное, но в принципе выполнимое. Вот как оценить такую смерть? Как самоубийство? И да, и нет. Сколько ни думаешь, а всё к этому же и приходишь: и да, и нет. Отказ жить — так как-то в конце концов получается...

Вспомнилось по этому поводу, как много лет назад группа североирландских патриотов, борющихся за независимость Родины, попала в тюрьму и объявила там голодовку. И стали они умирать от голода один за другим, пока не умерли все. Вот в этом случае вопрос о самоубийстве как-то и не возникает. Приняли смерть за Родину, за народ, за “друзья своя”, в конечном счёте, что есть высший подвиг в православной вере. А у Пришвина в его намерении уйти из жизни похожим путём были личные мотивы, поэтому мысль о самоубийстве и возникает.

Сделал эту запись и подошёл к окну покурить. Соседка Наташа появилась с двумя куриными яйцами в руке да мне их и отдала, как ни отказывался. Всучила прямо-таки, потому что “ещё тёплые”. И вправду тёплые, и чуть светятся изнутри тоже тёплым, каким-то живым, солнечного оттенка светом...

* * *

Один из самых любимых моих бунинских рассказов — “Пыль”. Совсем рассказ простенький, о том, как некий вполне благополучный господин, в сущности, второе “я” автора, проезжал город, в котором провёл несколько лет бедной, почти нищей юности (Орёл, конечно), и вдруг вышел в нём, чтобы побыть некоторое небольшое время до следующего поезда. И нашёл лишь затрапезность провинциальную и пыль, пыль, пыль...

Я и сам не понимал магического действия этого рассказа, пока, перечитывая его в очередной раз, не выделил вдруг место, все объясняющее. Герой едет с вокзала в город в трамвае: “Тусклое солнце жарко светило сквозь тусклое стекло. Хижины мелькали всё нищие, с высокими и гниющими, почерневшими тесовыми крышами. Навоз сушился перед ними. Над воротами торчали шесты с жёлто-седыми пучками ковыля. Хрущёв с радостью чувствовал, что всю жизнь будет любить всё это”.

Вот тут вся суть магии рассказа: в любви к тому, что, казалось бы, любить никак нельзя. Да ещё всю жизнь! А вот любит, несмотря ни на что. И каждому нужна, необходима такая любовь, неизменная и верная. Она-то и привязывает нас к земле и к жизни крепче всего...

* * *

Мастерская у народного художника России Валентина Михайловича Белова выглядит, на первый взгляд, как мастерская в самом прямом, обыденном смысле слова, в которой мастер что-то мастерит. Тут и беспорядок, и отходы от сделанной уже работы, и материал для новой. Столик, два кресла, два стула. Удивительно, что места, чтобы прилечь, отдохнуть нет, а мастеру скоро восемьдесят пять, и работает он почти ежедневно и целодневно.

Оглядевшись же внимательно и неторопливо, рассмотрев многочисленные скульптуры и картины, понимаешь, что мастер здесь не мастерит, а творит целый мир резцом и кистью. И главное в нём — люди: в счастье, горе, задумчивости глубокой, страдании, мечтах, в порыве самоотверженности...

При частом посещении мастерской начинает казаться, что, если бы окружающий, природный мир вдруг исчез, то Валентин Белов мог бы создать его заново своими руками.

Я приходил к нему много раз, садился в очень высокое креслице да и сидел часа по полтора. Моделью служил — так это вроде бы называется. Оно и утомительно, оно и приятно. Царьком себя эдаким чувствуешь, сидящим на троне. А рядом, рукой подать, ты же сам понемногу возникаешь из глины. И глиняный вариант часто казался лучше меня натурального, значительней, приглядней и умней. Мудрость даже некая проступала постепенно, которой отродясь в себе не ощущал. А поверить в это хотелось — раз художник такое в тебе увидел, значит, так оно и есть. Ему видней.

Удивительные были дни и часы. Мы много разговаривали, а работа у Валентина Михайловича как бы сама собой шла. Рассказывает он что-нибудь из своей жизни, а руки (одна в основном) работают. Что-то трогают, подминают, продавливают, прочёркивают. Кажется, что ничего от этих действий в портрете и не меняется, а посмотришь в конце сеанса — изменился-таки он в чём-то едва уловимом, но очень важном.

За это долгое время работы мы и жизни свои друг другу порассказали, и совпадения многие во взглядах и вкусах нашли. Любовь к прекрасному, но малоизвестному писателю Борису Шергину, например.

Валентин Михайлович, кстати, автор книжечки афоризмов и мудрых, и едких, и смешных иллюстрированных воспоминаний о поездках во Францию и Болгарию, и других книг, написанных с зоркой точностью и благородной простотой, как подобает истинному художнику.

Скульптор же он изумительный, и главная сила его, по-моему, в портретах, в психологизме их глубоком и тонком. Вот портрет жены, полный тёплой, покоряющей женственности, да ещё и согретый материалом живым,

тёплым — деревом. Вот портрет старушки, изнурённой страданием, но не сдающейся, готовой терпеть, сколько Бог пошлёт. Вот маленькой дочери портрет с косичкой и поднятым к небу счастливым личиком, со лбом, словно повторяющим кривизной своей плавный небесный свод. А вот и мужское, рабочее, аварийное усилие предельное, от которого, кажется, зависит, быть миру и жизни или не быть... Это сколько же сил духовных, душевных, физических надо было иметь и потратить на многие десятки портретов, созданных мастером за долгие годы! И материал-то здесь не краска, а дерево, камень и металл. Можно подумать, что дружба-борьба с материалом создала на лице мастера и выражение целеустремленно-упрямое, и морщины глубокие прорезала. Отпечаток рабочего усилия длиной в жизнь — именно так. Напоминает чем-то его лицо святых на иконах, недаром прозвище у него было в детстве “преподобный”.

Двигается же он на редкость легко, будто не распечатал недавно восьмой десяток лет труда, начав его масленщиком в военные годы.

У Валентина Михайловича имеется и дом в деревне Горбенки, и сад-огород там, и пасека, и даже башня, которую сам построил не так давно для спокойной, уединённой работы. Нечто вроде пресловутой *башни из слоновой кости*, только из кирпича. Есть и картина о жизни его деревенской, написанная внучкой, где он изображён со здоровенной кувалдой в руках. Называется: “В. Белов на отдыхе”.

Он и с компьютером на короткой ноге, в мастерской его держит и уверенно на нём работает, и за литературой текущей успевает следить, и сам постоянно что-нибудь пишет. Если расклеишься и раскиснешь, то его надо вспоминать. Имеется такое средство лечебное — Валентин Михайлович Белов!

Висит на стене в мастерской изображение генеалогического древа Беловых, весьма ветвистого, а в корне его — кузнец Шумай. И так как-то хорошо, правильно по отношению к Валентину Михайловичу, что первый предок его и кузнец, и Шумай по прозвищу.

Добавил и он сам к этому древу очень даже немало. Сын — скульптор, дочь и внучка — художники-живописцы, вторая дочь — искусствовед. И все талантливы! Видел в мастерской и одного из правнуков его, славянина такого светловолосого, который возился в приготовленной прадедом для очередной работы глине. Кузнец Шумай наверняка был бы доволен такими потомками, если б узнал!

Прошлым летом встретил Валентина Михайловича у новой художественной галереи на улице Ленина. Идёт быстро с тростью, в шляпе светлой, в жилетке новомодно-старомодной, тоже светлой, седые волосы из-под шляпы живописно так торчат. Сошлись, поздоровались-обнялись, как всегда. Я и говорю: “Ты сразу и на Циолковского, и на Мичурина похож”. Он помолчал и ответил: “Я Белов”. Вот именно!

* * *

Экзамен в институте по организации здравоохранения, предмету редкой скуки и тоски. Юрка Пугаев, дружок мой, сдаёт его ассистенту кафедры — низенькому, толстенькому, с лисьим каким-то выражением лица. Вот Юрка встаёт, берёт зачётку и говорит громко: “Я вам не верю. Вы плохой человек”.

Трудно придумать что-нибудь оскорбительнее. Самые бранные слова до “плохого человека” не дотягивают. Брань — она и есть брань, “на воротах не виснет”, по пословице, а вот “плохой человек” — совсем другое дело. Тут ты весь целиком определён и зачёркнут.

В брани же слова порой употребляются страшные, но проходят вскользь, иногда даже и без желания ответить. Как-то под машину на велосипеде едва не попал и услышал от шофёра: “Урод!” И почти с такой характеристикой согласился.

А экзамен Юрка пересдал на другой же день заведующему кафедрой. Тот выслушал его молча и поставил “отлично”, что Юркиному ответу не соответствовало никак. Узнал, скорей всего, про Юркино определение своего сотруд-

ника и его-то так высоко и оценил. И ещё о похожем. Иду как-то вечером мимо соседнего дома и вижу у его порога жильца, мужика знакомого. Стоит, покачиваясь, и всюю “отливает”. Рывкнул прямо-таки на него за такое, а он и ответил: “Иди, иди, пиши свою “Малую землю”. Как ни зол был, но расхохотался, настолько понравилось. И с тех пор отношение к соседу улучшилось, потеплело — остроумный человек! Он потом и холодильник наш древний чинил два целых дня, и взял за это какие-то пустяки, по-приятельски.

* * *

Есть у Твардовского стихотворение: “Про солдата-сироту”. Семья у него погибла, даже письма некому написать. Другие-то рядом пишут... “А у нашего солдата // адресатом белый свет, // кроме радио, ребята, // близких родственников нет”.

В послевоенные годы очень важным было радио для многих, особенно для людей одиноких. Слышал тогда: “Это ж как человек живой с тобой живёт. Я его, почитай, никогда и не выключаю. А замолчит — аж не по себе. Думаешь, хоть бы поскорей опять заталдычило”. Были и критические замечания: “Музыка ихняя эта! Играют и играют, конца нет, а всё одно и то же. А то петь возьмутся наперегонки, а что к чему, не разберёшь...”

Теперь же, жалуются старики и старушки, сетевое, “проволочное” радио исчезает, почти исчезло. Приёмник надо покупать.

Ещё жаль давних отрывных календарей, висевших почти в каждом доме. Чудесная была вещь! Оторвал листок — и как черту под прожитым днём подвёл. И завтрашний день на календаре увидел, который непременно придёт, раз уж обозначен. А на обороте листка текст, который почти всегда читался, хотя бы вскользь. То про науку в нём что-нибудь краткое, то совет житейский, а то и стихотворение, обязательно хорошее. Пушкина, Некрасова, Исаковского, Твардовского... Читальня такая громадная была с десятками миллионов посетителей, забегающих в неё хоть и на минутку, но зато ежедневно.

* * *

Главный режиссёр нашего театра, человек редкого таланта и редкой душевной силы, очень тяжело болен, но продолжает работать. Месяц за месяцем, год за годом. Последний его спектакль — “Попытка полёта”. И название не только к его собственной жизни можно отнести, но и к жизни каждого человека вообще. Даже у самого заземленного, погрязшего в бытовухе, она когда-нибудь, да была, эта попытка — в первой любви, в стихах, по этой причине сочинённых... Да и сам человек целиком, вся жизнь его не есть ли попытка взлететь-полететь бесплодная? Даже Тютчев, великий поэт, написал о себе: “Жизнь, как подстреленная птица, // подняться хочет и не может...” Что уж о нас, бедолагах, говорить...

Может, лишь монах-отшельник способен настоящий, полный полёт совершить — в молитве, к Богу...

* * *

Интересное место — городской сквер, узелок жизни и частной, и социальной. Всех тут увидишь — и по возрасту, и по роду занятий, и даже по характерам. Края жизни особенно ярко и обильно представлены — дети и старики. Они то порознь, а то вдруг и вместе, парочками, взявшись за руки гуляют. Сходятся противоположности, как оно и должно быть.

“Посидеть на сквере” — так почему-то стариками говорится. Именно “на”, а не “в”. Может, из-за некоторой старческой отстранённости, отхода от житейской потной запарки в сторону свободы и покоя.

Много удивительного, сидя на сквере, увидишь, чего раньше в спешке рабочей не замечал. Знал, например, что голуби целуются, но думал, что это метафора, приложение такое человеческое к голубиной прелести и милоте. А на днях увидел: да, целуются в самом прямом, нашем смысле.

Вся картина, вся повадка та же: прижимаются друг к другу тесно, голубь клювом раскрытым клюв голубки пытается достать, а она, не отступая при этом, голову отклоняет то в сторону, то назад. Довольно долго это длится, пока он, наконец, не ловит клювом раскрытым её тоже раскрытый клюв. Сорвал-таки поцелуй, такой молодец! Голубка после этого в сторону отбегают и смешивается со стаей. Думаешь: всё, потерял, к другой теперь пристаывать начнёт. Но, нет! Находит её быстро в толпе голубиной, и всё у них начинается сначала...

Не только любопытно, но и душеполезно всё это увидеть. Чувство возникает неожиданно серьёзное и глубокое. Все мы братья и сёстры перед Богом — примерно так. Твари Божьи.

* * *

Накануне операции по удалению “неврома” тяжело больной Тургенев записал в дневнике: “Кто знает — я, может быть, пишу это за несколько дней до смерти. Мысль невесёлая. Ничтожество меня страшит — да и пожить ещё хочется... Хотя...”

Поразительная по глубине и ёмкости запись. Тут и неверие в Бога — в страхе перед “ничтожеством”, то есть перед полным уничтожением в смерти; тут и протест против неё — в желании ещё пожить. Особенно слово единое “хотя” поражает. И усталость от жизни в нём, и готовность к смирению, к принятию воли судьбы. После операции он прожил недолго, но нельзя исключить, что покорность судьбе успела всё-таки смениться в его душе покорностью Богу.

* * *

Константин Сергеевич Аксаков сравнил “Мёртвые души” Гоголя с древнегреческим, гомеровским эпосом, а его отец Сергей Тимофеевич Аксаков с этим согласился. На первый взгляд, такое сравнение кажется весьма странным, мягко говоря. Но поразмыслив, начинаешь в нём какой-то резон находить или хотя бы признавать возможность такого взгляда. А вот если сравнить “Тихий Дон” Шолохова с гомеровским эпосом, то сразу почувствуешь: да, вполне сравнимо! Григорий Мелехов и из дома уходит странствовать — воевать, как Одиссей, и домой, в свой хутор Татарский, в конце концов, возвращается, как тот в свою Итаку. Только вот Одиссей возвращается жить, а Григорий — погибать...

Да и мощь “Тихого Дона” совершенно гомеровская, с полным приятием жизни и восхищением ею, при всей неизбывной её трагичности.

Когда читал роман впервые, то удивило слово “Конец” в самом конце. Может, потому оно появилось, что поток жизни, её напор и сила в романе так велики и так, кажется, бесконечны, что надо было это обозначение, эту метку поставить. Жизнь продолжается, но закончен роман.

* * *

Лет с тридцати вспоминаются изредка два кусочка из рассказа Бунина “Худая трава” и прокручиваются в памяти, как стихи. Вот они друг за другом, как помнятся: “Первый снег, первый зазимок... В этом было что-то волнующее и знакомое, и с новой силой почувствовал Аверкий — сладка жизнь!” “Если Бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину. Вот дело чистое, лёгкое, а то незнамо зачем и на свете жил”.

С первым кусочком понятно, в общем-то. Свежий снег выпал, пусть и не первый, сладость жизни эта самая возникла-дрогнула — ну, и вспомнилось. А вот второй-то кусочек откуда, почему застрял во мне так рано, когда и мысли не мелькало по святым местам поездить-походить. Душа, наверное, почувствовала, что в них до Бога ближе всего, и кусочек этот придержала впрок.

В последнее время, смотря православные каналы по ТВ, ловлю себя на том, что чаще всего на передачах о монастырской жизни задерживаюсь. Тут уж ничего самому себе объяснять не надо — по возрасту такое в самый раз. И вспоминается, как поддержка и подтверждение, что сравнительно молодой ещё Чехов мечтал быть послушником, сидеть вечером на лавочке у монастырских ворот и колокольный звон слушать...

* * *

Стоял на мосту через Оку в сильный ветер и вдруг вижу: птица белая, крупная высоко над рекой с берега на берег летит. Успел даже полюбоваться чуть-чуть плавным и неторопливым её полётом, пока не сообразил, что это не птица, а целлофановый пакет, ветром надутый. И всё во мне погасло, словно оплеуху внезапную и отрезвляющую получил. Смотреть на пакет уже не хотелось, но я всё-таки проследил из любопытства, как он высоко-высоко и реку перелетел, и прибрежный лесок, и растворился, в конце концов, в небесной синеве. И вдруг подумалось: а не надо различать, птица это или пакет. Красивый был полёт, вот и хорошо, вот и спасибо на этом.

Потом вспомнился мусор, оставаемый после групповых вышивок в нашей пригородной природе. Ярость до скрежета зубовного он во мне вызывает, кажется, так и бил бы людей, его оставивших, по головам. А тут, на мосту, подумал: а что, если и на этот мусор так же, как на летящий пакет, постараться посмотреть? Есть же и в нём что-то привлекательное — цвет, форма... Картину с него можно даже попробовать написать с такой установкой. Только вот мусор нужно тогда воспринимать лишь как натуру данную, без всякого личного и социального приложения. Индусы, по рассказам сына, так к мусору и относятся. Как к среде обитания. Иначе при его количестве в Индии было бы просто невозможно жить.

* * *

В самом общем, метафизическом смысле добро есть сближение, объединение, а зло, наоборот, — разъединение, расхождение. Это и стран, народов касается, и отдельных людей тоже. Но в сближении, добре то есть, существует и предел, за которым добро начинает превращаться в зло. И предел этот — некое интимное пространство, существующее и для народов, и для людей. Для народов это язык, вера, обычаи, а для отдельных людей — зона личной свободы. И степень сближения необходимого и достаточного народов и людей нащупывается только в практике, мучительно и трудно. Мера здесь играет главную роль, та самая золотая середина.

* * *

Умер у знакомой старушки муж, пивший долгие годы и много. Жили же всё равно неплохо, а к концу даже и хорошо. И вот на поминках забыла она в хлопотах стопку с водкой для него поставить, как по обычаю полагается. Он и приснился ей в ту же ночь, за руку её схватил крепко, до боли, держит и молчит. Еле вырвалась. А как проснулась, то поняла, что это он так обиду свою ей выразил из-за стопки не поставленной. Решив вино искупить, на девятинах целый стакан для него налила и бутылку с водкой рядом поставила...

Вот, хороша ли такая вера до деталей конкретных? Трудно сказать. Вроде бы и не очень, язычеством отдаёт. Но для самой старушки, конечно, хороша, облегчительна. Грань между этим миром и иным, в который муж её ушёл, прозрачной делает, стирает почти...

* * *

Без веры, без Бога народ не выживает, начинается хаос, диктатуры, репрессии, падение нравов вплоть до войны всех против всех. Вот именно потому, что высшего авторитета, высшего смысла, высшей скрепы нравственной нет. Пусть глубоко верующих, воцерковлённых людей мало (около пяти процентов), пусть большинство от церкви в отдалении стоит, но всё равно это уже некая структура, замкнутая на абсолютный нравственный авторитет. На Бога и Заповеди его.

Да и существование людей, совершенно лишённых веры, весьма сомнительно, разве что выродки какие-нибудь патологические. Если же есть в человеке хоть капля, хоть искра совести, то есть в нём и Бог, пусть он сам и не знает об этом.

* * *

Тоскуем, не видя долго, по реке, по воде текущей, потому что жизнь в воде когда-то зародилась и из неё на берег вышла. И по огню, по костру тоскуем тоже, по прапрапраприродине своей. Из плазмы ядерной, огненной всё сущее создано, и мы в том числе.

Сидел недавно с сыном и внучкой у костра. Разговаривали оживлённо, а потом паузы стали возникать всё чаще и длится всё дольше. Типичная ситуация, много раз в ней бывал. Огонь не просто зачаровывает, но и к себе, в себя зовёт, и мы откликаемся душой на зов. И тут не до разговоров...

Рассказали как-то, что на Магнитогорском металлургическом комбинате очень редко, но постоянно рабочие кончают самоубийством, бросаясь в жидкий металл... Жутко было такое услышать, конечно, но ведь и капля восхищения в этой жути была. Вот уж когда сливается тело человека с природой-родиной мгновенно и до молекул...

* * *

То лежа в больнице, то в иных трудных передрыгах приходилось для поддержки и приободрения вспоминать что-нибудь из самого-самого хорошего. И всегда это бывало что-то самое простое: природа-погода, прогулка с близким человеком, перекус какой-нибудь походный среди родных людей, вожделение внуков в детсад, ладошки их тёплые в твоей руке... Величие обыденного, вот именно. Уж и не помню, кто сказал так глубоко и прекрасно. Да кто угодно мог сказать, и мысль эта принадлежит, в сущности, всем...

* * *

Много лет назад шли с другом вдоль чудесной воронежской речки Усманки и остановились на ночлег. Высокий обрывистый берег, ласточки-береговушки так и мелькают над водой, взрослые вперемежку с молоденькими, лишь начинающими летать.

У костра заговорили о том, что земля, по данным науки, сторит через несколько миллиардов лет в разбухшем до неё солнце. И помню, как меня это вдруг зацепило, будто я и сам в том огне сторю. А сейчас думаю, что люди к той поре или давным-давно погибнут, или в другое какое-нибудь место переселятся. Для атеистов такое переселение утешительно, а для верующих

неважно, потому как они в Царствии Божьем надеются быть, никакому огню не доступном.

* * *

В молодости представление о неизбежном уходе из жизни вызывало недоумение и протест. Как же это? Всё останется жить-быть, а меня (меня!) не будет! Потом некая и самому мало заметная переделка шла годы многие и закончилась в старости прямо противоположным чувством: меня не будет, а всё останется — как хорошо! И успокаивает это, и умиротворяет, и даже бодрит.

Христианская по сути перемена, если даже мотив религиозный в ней мало звучал и была она простецкая, житейская, обыденная. Побыл-пожил — и хватит, пора и честь знать. Другим дай пожить, освободи место.

Франц Кафка, судя по дневникам, жил мучительнейшей душевной жизнью и получил облегчение лишь в последний год, когда узнал, что болен неизлечимо и смерть близка. Дневниковые записи этой поры очевидно об этом говорят, и одна из последних — о детях, двух девочках, которых он встретил на полевой дороге. Очень светлая запись о том, что новые подрастают нам бойцы...

К старости детей замечаешь всё чаще и всё дольше взгляд на них держишь. В них именно и облегчение, и надежда.

Старый, что малый, — так говорится. А имеется в виду, что ума у ребёнка ещё мало, а у старика — уже мало, тут-то они и сходятся. Есть тут правда, но лишь отчасти. Главное, пожалуй, в другом — в первичности и остроте восприятия мира при знакомстве с ним, но и при прощании тоже.

* * *

“Что, наконец, найдёт надменный ум // на высоте всех опытов и дум? // Что? Точный смысл народной поговорки”. Долго считал, что это Твардовский: и слова, и особенно суть — именно его. И узнал вдруг — Боратынский... Твардовский же, по воспоминаниям о нём, прочитав строчку поэта Алексея Прасолова: “И трав стремленья штыковое, // и кротость детская листа”, — сказал с удивлением: “Странно, что это не я написал”. Очень даже понятно.

Можно и ещё подобные примеры приводить, и говорят они о том, что, кроме яркой индивидуальности каждого истинного поэта, существует ещё и некий общий дух поэзии, который объёмлет собой всех и внутри которого поэты перекликаются из самых дальних друг от друга уголков.

* * *

Есть в прозе Чехова особенная, завораживающая притягательность, и суть её — в её ритмичности. Не очевидной, а прикрытой, приглушённой, которую улавливаешь шестым каким-то чувством. Если же вникнуть “прицельно”, то она, проза эта, начинает сама по себе выстраиваться в свободные, “белые” стихи. И именно прикрытость, “таинственность” ритма этой прозы усиливает его воздействие на читателя. Нечто похожее на эффект 25-го кадра в кино получается, который не осознается из-за краткости показа, но тем сильнее влияет через подсознание.

А редкую даже среди классиков популярность прозы и пьес Чехова можно отчасти объяснить тем, что жизни и любви чеховских героев большей частью не удаются. Поманила их жизнь и любовь, да и обманула. Эта обманность, несчастье судьбы близка очень многим, вот потому она в душах многих и отзывается.

Самые счастливые люди, согласно опросам, живут сейчас в Коста-Рике. Вот уж, наверное, райский уголок! Хотя и там ведь всё та же “юдоль слёз”, только посуше. Мы, кстати, в этой *табели о счастье* на 120-м месте.

Самое глубокое суждение о таинственном счастье человеческом, на мой взгляд, у Толстовского Платона Каратаева: “Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету”. Как раз к жизни многих чеховских героев такое приложимо.

* * *

Какое чудо чеховская “Степь”! Шедевр, созданный в 28 лет на переходе от Чехонте к Антону Чехову. Тут и сама степь, бесконечная и вечная, тут и множество людей, от графини и богача до полубродяг-обозников. А мальчик Егорушка, как поплавок по степи и по людям пущенный. И как едино всё, плотно, лезвия ножа, кажется, между фразами не вставить. Степь всё и вся собой соединяет, словно строительный раствор. Всё просто в повести, но и какой масштаб от мелких бытовых деталей, от лирики тончайшей, до грозных привидений-великанов до тоскующего зова самой степи: “Певца, певца!” Лирический эпос — так можно сказать на литературоведческом языке. Не случайно Сергей Бондарчук, воплотивший в кино эпос “Войны и мира”, в конце жизни прекрасно поставил и “Степь”. Угадал душой тайное родство этих таких разных шедевров.

Читая повесть, не только сам радуешься, но и чувствуешь радость автора, с которой он её писал. И за него тоже радуешься.

С верой у Чехова было сложно. Жил он как христианин, а веру истинную всю жизнь настойчиво и неустанно искал. В письме Миролюбову написал о том, что если веры нет, то надо её искать, искать, искать, одиноко, один на один со своей совестью... О себе сказал, конечно. А вот во время работы над “Степью” она, вера, с ним, скорей всего, и была, потому что вещь получилась боговдохновенная.

* * *

В “Вишнёвом саде” чеховском, в самом конце слуга Фирс бормочет: “Про меня забыли... Ничего... я тут посижу...” В недавней же постановке пьесы в театре “Ленком” Фирс кричит отчаянно, истощно, изо всех своих старческих сил: “Про меня забыли!” Режиссёр решил, видно, таким “прочтением” усилить воздействие последнего этого эпизода на зрителей. Не говоря уже о грубом нарушении всего духа пьесы, он и этой своей цели не только не добился, но получил, скорей всего, нечто обратное. Да и вообще тихо сказанное слово часто действует сильнее любого крика. Был я когда-то учеником токаря на заводе и “запорол” деталь важную, и станок вдобавок повредил. Подошёл учитель мой, здоровенный мужик Николай Садчиков, всё оценил мгновенно и прошептал: “Уйди, а то убью”. И я от него прямо-таки отпрыгнул, а от крика самого громкого разве что голову бы повинную нагнул.

* * *

“Любовь и голод правят миром”. Давным-давно, впервые прочитав это, почувствовал, какая тут глубокая, жестокая, непререкаемая правда для всего живого, включая людей. Как клещи железные, в которых все зажаты. А слово “любовь” как же, думаю теперь. А оно в этом ряду лишь материальный, физиологический имеет смысл, лишь как борьба за право продолжить род. Любовь же христианская, Божественная совсем другая, она отдаёт, а не захватывает, и в ней единственное спасение, выход из железных, страшных этих клещей.

* * *

Если есть у народа крупный писатель, которого ты читал и любишь, то это приближает этот народ к тебе и даже любовь к нему вызывает, как, к примеру, случилось у меня с армянином Грантом Матевосяном, киргизом Чингизом Айтматовым, абхазцем Фазилем Искандером. Нет такого писателя, то и народ остаётся далёким, пусть даже тебе пожить в нём какое-то время пришлось. Если же живёт с тобой в одно время писатель великий, масштаба мирового, как Шолохов или Маркес, то это создаёт ощущение некоей всемирной крыши над головой, защищает словно бы и хранит. Есть кому посмотреть на нас, бедолаг, с высшей какой-то точки и что-то важное и нужное при необходимости нам сказать. Вот умер недавно Маркес, и словно сквознячком холодным бездомья потянуло. Появление же нового писателя такого масштаба весьма сомнительно — уж очень теперешний мир для этого плохо пригоден.

Перечитал недавно повести Валентина Распутина — какая глубина и какая высота! Особенно “Прощание с Матёрой” — всемирного звучания вещь о крестыанском “Материке”, который где-то давно уже утонул, а где-то только тонуть начинает. Вот за неё ему бы и дать Нобелевскую премию, но где уж... Патриот, да ещё и Герой Соцтруда. Вот если бы при советской власти в тюрьму его посадили по обвинению в антисоветчине хотя бы на неделю...

* * *

Вчера отпраздновали в Воронеже юбилей нашего институтского выпуска — 50 лет. В последний раз был на 25-летию, а теперь не поехал — слишком велик временной разрыв: то были привлекательные ещё вполне женщины и бравые ещё мужики, а теперь увидел бы полужнакомых стариков и старух, которые бы меня не сразу и узнали. Страшно, попросту говоря. Да и дальнейшее представляется не лучшим: пить будут до грусти мало, и если кто вдруг и выпьет крепко, то и это не порадует — плох пьяный старик. А в разговоре главным будет — кто ещё работает, а кто (большинство подавляющее) уже нет. Да сколько внуков, да есть ли правнуки...

Будет, конечно, и хорошее. В том, главное, что старость уравнила всех, что все чины и регалии позади и существенного значения уже не имеют. В молодости студенческой все были равны, а теперь старость всех уравнила. А впереди совсем уж стрижка под одну гребёнку — уход...

Прощанье же видится особенно неловким, тяжёлым, тут уж не скажешь: “До следующей встречи!..”

Михаил Исаковский посетил в старости родные смоленские места и написал об этом прекрасное стихотворение с такими последними строчками: “Хожу, брожу, смотрю, но только “до свидания” уже не говорю”. Вот именно.

Всё так, но ведь и иное совсем можно представить: встретился со старушкой, и вдруг девушка давности полувековой стала проступать в её голове и взгляде...

* * *

Жили мы с приятелем в платоновских и мандельштамовских местах на квартире графини Жонголович — так мы звали хозяйку между собой за некую барственность повадки. Дом был полуразвалившийся, но с остатками былой стати, с окнами большими, классических пропорций, с лепниной на высоких потолках.

Мы были бедны по-студенчески, а Мандельштам и Платонов, жившие где-то поблизости, были, конечно, и того беднее. В письме Мандельштама жене видно, что оторвавшаяся подметка была для него целой проблемой. Но он же

тогда и написал: “В роскошной бедности, в могучей нищете // живи спокоен и утешен. // Благословенны дни и ночи те, // и сладкогласный труд безгрешен”. Вот откуда такая сила и оптимизм, да ещё если топор карательный над тобой висит? От счастья работы, наверное, которая шла у него в Воронеже, как никогда, может быть, раньше. А платоновские, самые близкие ему герои, вообще ничем материальным не дорожили в жизни, имея лишь душу, правды-истины взыскующую, да суму на плечах, да посох в руке.

* * *

Старушка идёт по дорожке сквера. Вид вполне народный — платочек белый, кофтёнка древняя полузабытого цвета, тапочки заношенные. В руках — пакет пустой. Из церкви, похоже, идёт, которая рядом. Остановилась вдруг резко, что-то поразглядывала в траве у края дорожки и как пнёт ногой по футбольному! Из травы мячик зелёный выскочил, выкатился на чистое, видное место и так хорошо лёг там, словно всего этого только и ждал. Ай да старушка, подумал я, детство, видать, вспомнила. А потом сообразил: нет, мячик просто из травы выкатился; придут искать, а он вот он! Поступок пустяковый, но ведь как хорош! И старость у старушки должна быть, скорей всего, хорошая, добрая, христианская. Проводил я её взглядом и о Валерии Чкалове, летчике знаменитом, вдруг подумал. Очевидец вспоминал, как, стоя у открытой двери вагона, выронил он наружку перчатку и мгновенно вторую следом бросил. И объяснил: пусть уж обе кто-нибудь найдёт. Тоже мелочь житейская, а как хороша, получше даже старушкиной. Впрочем, сравнивать в таких делах не стоит, неправильно это как-то...

* * *

В рассказе Юрия Трифонова “В грибную осень” старушка-гардеробщица говорит главной героине, у которой только что умерла мать: “С печалью тебя!” И чуть иное приходилось слышать: “С горем тебя!” Странное высказывание, но лишь на первый взгляд. Есть в нём и смысл, и глубина редкая. “Бог посетил”, — и так ещё говорят в подобных случаях, и тут-то смысл и проявляется. Всё мелочное, наносное горем-бедой отбрасывается, и обнажается основа жизни в её страдании неизбежном и необходимости принять его и претерпеть. В дневнике Толстого это выражено по поводу смерти пятилетнего любимого сына с поразительной, ошеломляющей глубиной: “Смерть Ванечки была для меня... проявление Бога, привлечением к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжёлое событие, но прямо говорю, что это (радостное) — не радостное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к Нему событие”. Прочитайшь это, примеришь к себе и подумаешь, что нет, не дорос до такого чувства и понимания и лучше, пожалуй, до него и не дорастать. Есть тут что-то страшное, нечеловеческое уже. Что-то, напоминающее готовность библейского Авраама сына своего любимого убить в угоду Богу. Всегда, кстати, этот эпизод из Библии у меня протест и возмущение вызывал, если вспоминался.

Человеку простому куда уж до толстовской глубины-высоты, ему лучше и как-то правильнее при горе-печали своей оставаться.

А вот последняя фраза в рассказе Трифонова: “Одна женщина сказала, что Надя за эти дни заметно похудела и что ей так гораздо лучше”. Хороший конец с надеждой призрачной неизвестно на что...

* * *

Молодой, огромный соседский пёс Антар прыгнул вдруг на меня и носом скулы коснулся. Ощущение было такое, словно юная девушка меня вдруг поцеловала.

Весёлый пёс, добрый, а отец у него был угрюм и злобен. Дважды хозяйку сильно покусал. Какой разброс в характерах не только в пределах породы, но даже и рода. Совсем как у людей.

Вообще, к старости разница между людьми и животными не представляется такой уж непреодолимо громадной. И это приятно. И как-то по-христиански правильно. Братья нам они и сёстры меньшие — так чувствуется. А глядя в глаза собаки или лошади, думаешь порой, что не говорят они лишь потому, что гортань и язык у них не так, как у нас, устроены. И веришь, что дикие медведи руки у старцев-пустынников покорно лизали, и что Франциск Ассизский совсем не зря птицам учение Христа проповедовал.

* * *

Видел на днях по ТВ, как давно и близко знакомые мне супруги, прожившие вместе 60 лет, идут прямо на зрителя в конце фильма о них. Он чуть впереди, а она руку на его плече держит. Чем-то похожи, как бывают похожи люди, прожившие вместе так долго. И улыбки похожи — светлые, чуть грустные и чуть виноватые.

Подумал вдруг, что, сколько бы они ещё ни прожили (дай Бог побольше!), кто-то уйдёт первым, оставив в одиночестве второго. И протест странный возник — нехорошо это, неправильно как-то. В один день уходить заслужили они право, как Филимон и Бавкида.

* * *

Священников в советские времена только в церкви, бывало, и увидишь. Или около церкви на лавочке. Помню двух таких в украинском селе Юнаковка и в моём родном Тиме. Они и похожи были — средних лет, грузные, краснолицые. И такие на своих лавочках одинокие. Очень мне, молодому совсем тогда, хотелось подойти и поговорить о вере, о Боге, спросить кое-что, но так и не решился. Одинокость их была уж очень особенной, зачарованной, пугающей почти.

Теперь же иное совсем: в жизни всеобщей они, священники, вращаются свободно, как и все мы. Недавно настоятель нашей, ближайшей церкви даже сам, первый, со мной заговорил. И хорошо, стоя на солнышке, поговорили. А спросить что-нибудь о Боге и вере мне и в голову не пришло. Вопросы-то есть, но они все богословского какого-то плана и задавать их было бы бестактно. Священник — не богослов, он службу свою церковную, вполне определённую несёт. А когда расстались весьма дружелюбно, то я подумал, что богословские проблемы, вопросы скорее мешают вере, чем помогают ей. Путься в них начинаешь, как та сороконожка, которая задумалась, с какой ноги она идти начинает, да так и осталась на месте. Верь, на Бога уповай, в грехах кайся — вот и всё. А богословское оставь богословам. И вспомнился вдруг герой рассказа Бунина “Худая трава” батрак Аверкий, который подумал перед смертью: “Бог не любит высоких мыслей”. Прав он был, пожалуй, потому что гордость в этих мыслях “высоких”, гордыня та самая...

* * *

Свой первый рассказ я написал лет в восемнадцать о том, как старый лесник не захотел умирать в больнице и ушёл самовольно в лес, домой, да там и умер. Второй, о том же примерно — о смерти заблудившегося в пустыне человека.

Сам же я был в ту пору редкостно здоров, энергичен, жизнерадостен. И спортом усердно занимался, и с девушками не ленился общаться. Так откуда же начало писания такое странное, совсем вроде бы мне не подходящее, взялось? Сам тогда на себя удивлялся и не понимал. А теперь думаю, что от

той же силы жизни, для которой смерть была обратной стороной медали. Очень жизнь любишь, тогда и смерть будешь чувствовать поблизости всегда. Как в песенке прекрасной: “Две верных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой”. Два слова надо только заменить, понятно, каких.

Пушкинское отношение к жизни и смерти это чем-то напоминает, у него они, как пальцы рук переплетённые, — не растащить. И одно неумовимо как-то перетекает в другое. Даже и в предсмертных словах: “Жизнь кончена, кончена жизнь...”

* * *

“Смерть, как солнце, на неё не глянешь”. Народная поговорка мудрая... Есть, однако, люди, которым приходится на смерть в упор смотреть — врачи. И врач Чехов так же на неё смотрел, с трезвостью профессиональной. В роли же писателя констатировал её, чаще всего, как факт, не углубляясь психологически в процесс умирания, в отличие от Толстого. А вот ход болезни описывал подробно и даже “со вкусом”. В рассказе “Тиф” это особенно заметно. Когда же бывший его университетский учитель, профессор, похвалил это описание с точки зрения врачебной, то был польщён очень.

Вообще, трезвость взгляда на что бы то ни было — характернейшая чеховская черта. На вопрос, что такое жизнь, он ответил в письме с предельной прямо-таки трезвостью: “Это всё равно, что спросить, что такое морковка? Морковка и есть морковка и больше ничего”. Хотя тут, скорее, не ответ, а уход от ответа. Частый у него в похожих ситуациях приём. И не случайно не вёл он дневников, опасаясь, может быть, их затягивающей, невольной откровенности.

* * *

Навестил старого друга незадолго до его смерти. Совсем лежачий, и наёмная нянька в соседней комнате его сторожит. Напротив кровати — большая фотография недавно умершей жены, с которой больше пятидесяти лет прожили. Заметил мой взгляд на неё и сказал: “Не отпускает!” А ведь жили сложно-сложно, мягко говоря...

Вскоре ещё одна встреча, и ситуация похожая, только умер муж. И тоже прожили за 50. Вдова-старуха рассказала, как он пробормотал как-то: “Если первая умрёшь, то я знаю, что делать: десять бутылок водки куплю”. Зачем — вполне понятно...

И ещё похожее вспоминается. Вот что это такое? Великая любовь? Великая привычка до невозможности физической одному жить без другого? Или и то, и другое вместе? Умер один, а второго словно пополам перерубили. Вот и выживай, как знаешь...

У друга детства отец несколько лет лежал совершенно беспомощный и с головой “набекрень”. И как же жена, мать друга, за ним самозабвенно ухаживала без всяких признаков раздражения или недовольства! А когда, наконец, умер, сказала: “Пора следом и мне...”

В юности, помнится, вопрос можно было услышать: “Ты веришь в любовь?” Теперь же вопрос такой представляется странным: да сплошь она вокруг, только присмотришься...

* * *

Мужичок, встрёпанный такой, идёт-бежит, озираясь по сторонам. Меня вдруг заметил.

— Присмотрите за мелкой моей, я быстро за пивом!

Пожимаю плечами недоуменно.

— Да вон, вон, на детской площадке, в платье жёлтом! — И ушёл-убежал.

Сообразил я, наконец, что “мелкая” — это девочка лет пяти, по лесенке наклонной лазающая, и до неё — метров сто. В каком смысле должен я за ней присмотреть? Не упала чтобы? Так лесенка низкая, да и не помочь с такого расстояния... Потом догадываюсь: не увели чтобы, не украли, вот зачем надо мне смотреть!

Вспомнились давние-давние, частые просьбы в залах ожидания вокзальных, обращённые к соседям, за вещами присмотреть, если отойти нужда была. Далеко мы продвинулись в этом деле — от узлов и чемоданов до детей...

* * *

Первая любовь не забывается — все с этим согласны, как с чем-то очевидным. Но почему? Потому что первая? Да, но это только часть ответа, и не главная. Главное, потому, что объект любви видится тогда в наиболее идеальном виде, самом близком к Божьему замыслу о нём. В любовях же последующих взгляд наш затуманивается, “загрязняется” опытом жизни, теряет прежнюю зоркость и чистоту. Вот и остаётся первая любовь навсегда в памяти, как некий впервые обретенный и вскоре потерянный, “погубленный” жизнью идеал.

Очень редко первая любовь приводит к браку и долгой и даже счастливой семейной жизни. Но и тогда начало любви вспоминается, как нечто главное, как первая вспышка долгого потом огня. И для обоих за обликом и пожилого, и старого уже спутника жизни всё равно проступает время от времени та девушка и тот паренёк...

А последняя любовь? Она тоже не забывается уже потому, что последняя — заслонить её уже нечему. Да ещё и по яркости своей особенной на тёмном фоне недалёкого ухода. В пору прощания с миром случившаяся вдруг любовь становится центром этого прощанья, который и греет, и обжигает человеческое сердце.

* * *

Отшельник, уходя в пустыню, уходит от всех людей, но одновременно и приходит ко всем людям через обретаемую в пустыне близость к Богу. И люди, интуитивно чувствуя это, тянутся к нему, к Богу поближе, в сущности. Так образуются монастыри, а там и поселения, и даже города. Выходит, надо уйти от людей, чтобы потом их же вокруг себя и собрать. В Боге, ради Бога.

* * *

В жизни человеческой несколько событий “выпускных”. Первое — само рождение. И здоровый ребёнок при этом непременно кричит. Есть у Гегеля мысль, что этим криком он властно заявляет о своём приходе в мир. Но можно и иначе подумать: предчувствует новорождённый, что жизнь не сахар. Недаром психологи о травме рождения говорят из-за резкого перехода из одной среды в другую, в которой надо уже автономно, самостоятельно жить и терпеть.

А потом “выпуск” из раннего детства в учёбу, а из учёбы — в работу, а из работы — на пенсию. Последний же “выпуск” для атеистов — в природу для слияния с ней, а для верующих — к Богу, на Страшный суд. Вот тут, как и при рождении, тоже закричать основания есть...

* * *

Выигрыш Россией паралимпиады для меня важнее был, чем выигрыш олимпиады обычной. Зрелище соревнований паралимпийцев не только бод-

рит, но и душу лечит в самом прямом смысле. Стыдно становится киснуть и горестям своим очень уж предаваться.

Вспоминаются инвалиды послевоенья в нашем посёлке: то на деревянной толстенной ноге, похожей на огромную бутылку, то на платформочке с подшипниками и с “утигами” деревянными в обеих руках — для толчка и управления... В очень бедной жили стране, понятно, но такого нельзя было допускать, грех. Потерявших же руки и ноги (“самоварами” их называли), поселили на острове Валаам, к Северному полярному кругу поближе. Да и с глаз долой. Не самый, конечно, большой грех у Советской власти, но какой-то подлый, если можно грех так определить...

Слышал рассказ о том, как оказался валаамский инвалид на верхушке колокольни и бросился вниз с криком: “Это я!” Сумел-таки человек о себе заявить, только кому? Товарищам по несчастью?

* * *

Чехов написал в письме влед сестре уехавшей: кто ж теперь мне будет ногти на правой руке подстригать? Шутка, но ведь и серьёзность тут есть, тайна и глубина интимного быта. Целый мир, и хорошо, если в нем участвуют родные, любящие друг друга люди. Да, но ведь за деньги сделают тебе всё, что хочешь, не только ногти подстригут на правой руке. Прекрасно сделают, только вот люди будут чужие, наёмные. А может, так и лучше? И уход последний, предсмертный, они обеспечат, возможно, лучше родных. Пришлось недавно наблюдать такое: очень хороший уход за очень хорошие деньги. А когда-нибудь в будущем роботы, глядишь, всё это будут делать лучше живых людей. Не исключено, только представить такое страшно...

* * *

“Попытка полёта” — пьеса такая в нашем драмтеатре идёт. Да и в жизни она сплошь, эта попытка, — в вере, в любви, в творчестве... Попыткой вечной она и остаётся. Разве что чуть-чуть над землёй иногда приподняться бывает дано и тут же вновь на ней оказаться. А полёта настоящего, вольного — нет как нет... Старость же и попытки гасит понемногу и из-за прошлого опыта безуспешного, и из-за убыли сил. Тут уж одна, главная, остаётся надежда — на то, что тело, в конце концов, пойдёт в землю, а душа к Богу полетит...

Перечитал недавно “Чевенгур” Андрея Платонова — там ведь тоже попытка чевенгурцев взлететь и очутиться побыстрей, “к осени”, в Царстве Божьем, которое называлось у них коммунизмом. Падением она и закончилась, как же ещё...

* * *

Лиственная зелень разных деревьев если и не одинакова, то очень похожа, зато осенью какое разнообразие цветов и оттенков! И желание различать, определять их порой становится томительным, мучительным даже. Откуда оно? Может, от надежды неосознанной, определив точным словом кусочек красоты, тем самым уроднить его себе, приблизить, присвоить?

После первого ночного заморозка листья, передавленные в черенках морозом, начинают прямо-таки рушиться на землю, оставляя на ней круги, как сброшенную одежду. Листопад, и какой же он разный у разных деревьев! Листья клёнов раскачиваются из стороны в сторону широко и вольно, листья раки свертят воздух в штопорном вращении, листья берёз и лип падают вниз смиренно... “Как я завидую тебе! // Ты высшей красоты достигнешь // и упадёшь, кленовый лист”. Японское стихотворение, конечно.

И правда в нём есть несомненная: да, завидуешь и жизни листа, такой кротко-чистой, и уходу, такому быстрому и свободному, как последний вздох...

Поставил в вазу кленовые листья огромные и скоро заметил, что они корёжиться, скручиваться стали мало-помалу. Хотел выбросить, но в последний момент присмотрелся — да это же как бронза литая, прихотливо изогнутая, узорчатая, прекрасная!

* * *

В долгом-долгом браке, в конце его случается некое частичное повторение того, что было в самом начале. Дела плотские поотодвинулись, а вот близость душевная приобретает давнюю, полузабытую, затёртую раньше житейской морокой силу. Парочкой такой неразлучной старой делаются супруги, как когда-то были парочкой молодой. Видно, что и молчать рядом им хорошо, и разговаривать не хуже. Даже и болезнь тяжёлая такую близость не нарушает порой. Рассказывал приятель, что лежат его теща и тёща в одной комнате на соседних кроватях, беспомощные вполне, а как войдёшь к ним — говорят, наговориться не могут. И ещё узнал, что развели стариков-супругов по детям, по городам разным, так они бунт целый подняли, чтобы воссоединиться, и добились своего.

* * *

Гулял утром с собакой и лошадку игрушечную, брошенную на обочине дороги, увидел. Большую такую, двухлетнему ребёнку как раз впору на ней скакать и сабелькой помахать. Подошёл почему-то вплотную, порассматривал внимательно. Роскошная лошадка, белой масти в розовых яблоках. И как-то застряла она во мне на всю прогулку, промелькивала в глазах навязчиво.

Дома уже вспомнилось, что лет семьдесят назад, в глухой курской деревушке зимой, в войну, ждал я возвращения матушки из райцентра именно с игрушечной лошадкой на колёсиках. Так обещано было — наверное, чтобы не плакал. Я и не плакал, а смотрел целый день из окна на тропинку, через снежное поле уходящую за горизонт. Ждал возвращения матушки с лошадкой, и не было, может, потом ожидания напряжённой. Вот и не пропало ожидание моё, только подзадержалось с осуществлением на целую жизнь.

Вечером того же дня рассказал про этот забавный и чем-то грустный случай сыну, и мы решили лошадку взять и в саду своём поставить. На память о той зиме, войне, деревушке Красный Камыш. Но лошадка уже исчезла. Упустил я дар запоздалый...

* * *

Есть от нас неподалёку посёлок со смешным и милым названием Кукареки. Один, может, такой на всю Россию. Недавно открылся там сильный родник, осытели его даже почему-то, и пошёл-поехал к нему народ за водой. Очередь постоянная.

Идёт старушка с рюкзаком за спиной, а вторая её окликает:

— С родника, что ль?

— С родника.

— И опять на голой спине бутылки несёшь? По такой-то жаре такой холод! Тряпки подкладай, говорила ж тебе...

— Да по жаре хорошо, прохлаждает...

— Дура, это ж простуда самая!

— Авось, Бог милостив. И вода ж освящённая...

— И опять дура! Бог-то Бог, да не будь сам плох, не знаешь, что ли? Филипповна от чего померла? Застудилась под бутылками этими!

— Да, придётся, видно, тряпки какие под них класть, твоя правда...

Уходит виновато, даже руку за спину заводит и под рюкзак подсовывает.

Есть неподалеку и ещё святой источник — у кладбища, где матушка лежит. Над ним и беседка высокая, железная, с иконой Пресвятой Богородицы на самом верху. Наше место и совершенно чудесное: дуг большой, ракиты на нём древние, громадные. То стоящие внаклон, то лежащие уже, но с порослью живой по стволу. Поблизости от источника — стол просторный с лавками, поминальный, похоже, стол.

Душа здесь отдыхает на редкость, да где ж ей и отдохнуть, как не у кладбища, всякое житейское попечение оставив хоть ненадолго...

* * *

“Тот, который не поймёт — // смерть для жизни новой, — // хмурым гостем проживёт // на земле суровой” — Гёте. Пантеист, язычник, в сущности, а какая мысль глубоко христианская! И Марк Аврелий язычником был с душой христианина, что хорошо видно в его записках “Наедине с собой”. Но ведь гонителем христианства суровым себя проявил, то ли не угадал близости христианства своей душе, то ли пренебрёг ею ради государственных, имперских интересов.

А какое горение душевное вспыхнуло у первохристиан! Раньше был все страх, страх, а тут вдруг — любовь! Бог есть любовь — истинно новое слово было людям сказано, невысказанное, невероятное, ошеломляющее. Легко представить, как они оставляли всё прежнее и шли на это слово любви. На свет его и тепло.

* * *

Телефонный разговор с близким человеком, интересный, оживлённый, и вдруг — пауза в нём неожиданная и продолжительная. Много вмещается в такую паузу, гораздо больше, чем если бы время её словами густо заполнено было. А если разговор такой же с глазу на глаз, и та же пауза, и глаза собеседника перед тобой, то всё ещё полнее и глубже — будто в иной, волшебный мир переносишься мгновенно. В глазах другого человека всегда тайна влекущая, но и грозная чем-то. Вот-вот откроется, и что тогда? То ли очень хорошо станет, то ли очень плохо...

* * *

Творческий вечер старейшего нашего поэта. И публика в основном старенькая, и это грустно. Большинство из собравшихся сами пишут стихи и читают их по ходу вечера. Стихи плохонькие почти сплошь, и это ещё грустней. Но понемногу всё начинает меняться. Грусть эта самая как-то улетучивается, сменяясь едва ли не радостью. Как же это всё-таки хорошо — писать стихи всю жизнь, как это её украшает! И что плохонькие они — не беда. Для кого-то они и очень даже неплохи, для авторов, по крайней мере.

Бытовала когда-то в литературной среде фраза Твардовского, сказанная им о начинающих, бездарных поэтах: “Котят надо топить слепыми”. Сурово и даже жестоко. И правды тут нет, потому что всегда ошибиться можно. Он и ошибался очень крупно — в оценке стихов Николая Заболоцкого, например.

* * *

Не раз слышал истории похожие и вполне удивительные. Была юношеская любовь, да и сплыла, как водится. А потом, через тридцать, сорок лет, находит один другого, с великим трудом иногда, и сходятся, и начинают

жить. Продолжать, в сущности, начатое жизнь тому назад. Догадываются и чувствуют, наверное, люди, что такое уже давнее, молодое сближение имело в себе нечто особенное, глубокое, что уже не повторилось потом. Особенность эту пытаются вернуть — и вдруг удаётся. Чудо чудное совершается!

Поразительная же в теперешнее время распространённость поисков в сети одноклассников, однокурсников говорит не только об одиночестве людском, но ещё и о надежде на вот это самое чудо.

Кстати, чем больше времени с момента разлуки прошло, тем и вероятность успеха при встрече больше. Проверка чувства строже была.

* * *

Сложны и глубоки отношения человека с животными. И тайна в них есть, часть тайны человека вообще.

Всем известна частая похожесть собаки на хозяина. В книге о Пришвине он сфотографирован рядом со своей любимой охотничьей собакой, крупно, головы рядом, почти ушами соприкасаются. Похожи так, что оторопь берёт. Одно лицо, только у Пришвина человеческое, а у собаки — собачье.

Вот откуда такое? Не выбирают же “под себя” при приобретении? Или выбирают всё-таки подсознательно? Или долгое и тесное общение эту похожесть исподволь создаёт?

Не только во внешности, но и в поведении нечто подобное замечается порой. Много лет гуляя с нашим шнауцером Луи, заметил, что он часто, отпущенный побегать свободно, садится на место повыше и вдаль подолгу смотрит. Вроде меня самого во время перекуров при наших прогулках. Или разминаешься в саду утром, а он напротив сидит, смотрит. И подумаешь вдруг: ну, как сейчас начнёт лапы свои передние сводить-разводить, как я руки, а потом и скажет что-нибудь...

Так это собака всё-таки, а у Мандельштама в стихах с птичкой малой нечто похожее: “Мой щегол, я голову закину, // поглядим на мир вдвоём. // Зимний день, колючий, как мякина, // так ли жестк в зрачке твоём?”

А характеристики людей путём сравнения их с животными? Едва ли не полней они тех, которые официально пищутся, да ещё в одном слове. То “медведь”, то “свинья”, то “голубка”, то “корова”... Помню, жена друга, крупная, добрая, спокойная, умная женщина, так и сказала о себе: “Я корова”. Мы, смеясь, согласились с ней охотно и уважительно.

Ещё интересно и познавательно, кто каким животным хотел бы стать, если б можно и нужно было. Случались и такие разговоры, и поэтому привожу ответы реальные: “слоном”, “мышкой в скирде соломы”, “вороном”. А муж той женщины, которая считает себя “коровой”, хотел бы стать “альбатросом”. Какая пара!

Самое же удивительное пожелание выразил мой друг-философ, покойный, к сожалению, — стать котом в нашей семье. Приятно было такое услышать.

Ну, это всё поверхностно весьма, а вот в книге прекрасного, но малоизвестного писателя Олега Базунова “Окно” есть удивительные по психологической глубине описания собак, кур и двух петухов-соперников. Петухов особенно — люди прямо-таки! Кстати, гена чисто человеческого, отличающего людей от животных, так ведь пока и не нашли...

* * *

Есть неподалёку от нашего дома короткий кусок дороги, заасфальтированный и совсем короткий. Протянули да и бросили почему-то. А вокруг поле, кусты и деревья на нём вразброс. Уютное такое местечко и потому вечное тут машины на обочинах стоят. Бежишь или на лыжах идёшь, или просто гуляешь — стоят себе подолгу. Когда-то давно это у меня даже раздражение нелепое вызывало: понаехали тут, дом свиданий прямо-таки устроили, понимаешь... А сравнительно недавно летним, жарким днём встречаю па-

ру, она с сумочкой, он с большой сумкой. Ему вокруг сорока, ей немногим меньше, вид интеллигентный вполне. Остановились, помялись в нерешительности и вдруг “ломанули” через бурьян высоченный к кустам невдалеке. Весьма доброжелательно и сочувственно смотрел я им вслед, представляя, что хорошо им будет, как в комнате зелёной, закрытой... Сместилось восприятие таких вещей с возрастом и, по-моему, в хорошую сторону. А на днях совсем вижу: выбегает из магазина парень, ставит на асфальт почти у дверей какой-то флакон, рядом что-то маленькое, чёрное кладёт и скрывается за углом магазина. Вслед второй, такой же встрепанный, появляется, на корточки садится и начинает туфли чистить: прыскает из флакона и щёткой трёт. Торопливо, но тщательно, задники туфель осматривая. Потом, выбросив в урну флакон и щётку, убегает за тот же угол. Понятно, девах каких-то упустить молодцы эти боятся, но и предстать перед ними в лучшем виде хотят. Тут уж хоть вслед им кричи: “Счастливо, ребята!”

* * *

Есть у меня при оценке людей (мужчин именно) один небольшой и странный на первый взгляд признак: любили человека девушки в юности-молодости или нет? Так буквально и подумаешь порой — ну, этого-то точно не любили... Плоховаты они часто, такие мужчины, в ту именно пору нелюбимые, а иногда и очень плохи. Да и ужасные должны среди таких чаще обычного встречаться. Почти уверен, что если разобраться глубоко в личностях и жизнях злодеев и тиранов, то это подтвердится.

Ну, и что, даже если и так? Девушкам, что ли, рекомендовать в любви щедрее и терпимее быть? Что ж, хорошо бы, если б было возможно такое. Всякое по любой причине увеличение любви в жизни улучшает её. Был, кстати, в уголовной среде, а может, и сохранился культ любви к матери. И наколка, помню, самая популярная была: “Не забуду мать родную”. Всех, может быть, человек ненавидит, но одно исключение всё-таки делает, иначе и жить невозможно...

* * *

Перечитываю Андрея Платонова, оторваться не могу. Самые сильные места те, где он описывает запустение, разруху, тлен, голод, смерть... Какая-то поразительная по мощи поэзия ухода и исчезновения. Он и гибель человечества, и гибель Вселенной мог бы написать, как никто. Но и совершенно противоположное есть — порыв ввысь, к звездам, к Богу, в которого он вроде бы и не верил.

Иосиф Бродский в статье “Катастрофы в воздухе” написал, что Платонов подобен альпинисту, покорившему Джомолунгму, а Набоков — цирковому канатоходцу. Резко сказано, но ведь и правда какая-то тут, несомненно, есть.

* * *

Семь уже лет, как главный мой собеседник по делам метафизическим и философическим Всеволод Катагощин из жизни ушёл, а мне до сих пор остро иногда его не хватает. Что-то обсудить, о чём-то спросить, просто поговорить на уровне “высоком”... Удивительно крепка связь именно духовная между людьми, и если она есть, то не рвётся и даже не стареет от самых долгих разлук. Бывало — годы не виделись, а встретились и, кажется, можно разговор, так давно прерванный, тут же продолжить.

Написал, да и засомневался. Что уж такого особенного в этих разговорах “высоких”? Другое что-то, главное к нему влекло и привязывало. Суть некая человеческая, загадочная и живая. Перечитал недавно в журнале последнюю

его статью “Проблема существования зла”, посмертную уже публикацию, и как голос его услышал, который оказался вдруг для меня важнее мыслей и смыслов статьи. И тут же вспомнилось, как он пел песни Вертинского, неумело, беззащитно-искренне и совершенно покоряюще. И как однажды смеялся, соглашаясь, когда я припомнил местечко из Василия Розанова: “Что мысли? Мысли бывают разные...” Цену же мыслям, уж конечно, знал, но знал, что есть и иное, важнейшее. Бог, любовь, загадка души человеческой...

* * *

Увидел старушек, собирающих из мусорных урн бутылки, и так это меня вдруг по душе царапнуло. Много уже лет такого не встречал, и вот оно вернулось. В девяностые, в первой половине особенно, за пустыми бутылками охотились прямо-таки. Около мужиков, пьющих пиво, часто кто-нибудь стоял в ожидании, в урнах бутылок почти не увидеть было. А теперь что ж, по новому кругу пошло? Смена времён, а сбор бутылок примета этого мельчайшая? Может, и соль уже кто-то впрок закупает, старушки те же самые, войну помнящие?

Приметы времени... Вот они, приметы, в стихах Твардовского, по которым время едва ли не до года узнать можно:

*В вагоне пахнет зимним хлебом,
Гремят бидоны на полу.
Сосет мороженое с хлебом
Старуха древняя в углу.
Полным-полно, народ в проходе
Бочком с котомками стоит.
И о лихой морской пехоте
Поёт нетрезвый инвалид.*

Много примет и все такие памятные, тяжкие, знобящие...

* * *

По воспоминаниям очевидца (Бахраха, кажется), Бунин незадолго до смерти сказал вдруг, что всегда считал первым поэтом России Пушкина, а вот теперь думает, что это Лермонтов. Как-то даже задело такое, когда прочитал. Лермонтов великий поэт, несомненно, но чтобы Пушкина отодвинуть...

А потом показалось, догадался о причине такой, скорей всего, и для самого Бунина неожиданной перестановки. Предсмертное томление, когда жизнь становится бременем несносным, его к этому склонило. Никогда он, наверное, жизнью не тяготился, жизнелюбом великим будучи, и вдруг тяготиться стал. А чувство это гораздо сильнее выражено у Лермонтова, чем у Пушкина. Томление в жизни земной и тоска по иному, высшему миру: “И звуков небес заменить не могли ей // скучные песни земли”. О душе человеческой, принесенной ангелом из иного мира, сказано. И другое есть подобное, многое.

Вот и совпало предсмертное томление бунинское с этим устойчивым лермонтовским мотивом, он перестановку наших главных поэтов и сделал. Вполне возможно, что это лишь под влиянием состояния и настроения случилось ненадолго, а потом всё вернулось на прежние места.

* * *

Документальный телевизионный фильм “Прощённый день” посмотрел с таким глубоким и острым интересом, которого не испытывал давно.

В воронежском селе, в крохотной квартирке живут два брата и сестра, слепые от рождения. Возраст у всех вокруг сорока. Был старший брат, их

опекавший, но умер. Они же отказались переезжать в инвалидный дом и живут самостоятельно.

Квартирка вида совершенно нежилого, обшарпана и ободрана крайне, но мусора и даже беспорядка нет. В комнате три железных кровати, стол кухонный послевоенного образца, у стола табуретка и рундучок для сиденья. На кухне столик, табуретка и газовая плита. Кажется, всё...

В самом начале фильма братья ходят медленно-медленно по кругу, каждый у своей кровати, и что-то монотонно поют — гнусавят. Слов не разобрать, но что-то религиозное, псалом, может быть. Потом сидят на кроватях, монотонно покачиваясь взад-вперёд, уже молча.

Потом перебивка, и поход сестры в магазин с палкой в руках и рюкзаком за спиной. Покупка еды самой простецкой и возвращение. Вернувшись, сестра играет, сидя в кухне на полу, с собакой и двумя щенками. Очень увлечённо и нежно играет.

Опять перебивка, сестра ставит на плиту огромную кастрюлю и долго не может зажечь газ — спичкой до горелки никак не может достать. С четвёртой спички удаётся. Потом умывает одного из братьев и бреет его. Потом братья едят похлебку из мисок, с зеркальной похожестью друг на друга.

Перебивка. Все трое лежат на кроватях и слушают по приёмнику какую-то русскую сказку. Выражение лиц при этом (и во всё время фильма!) у всех примерно одинаковое-спокойное с едва уловимой улыбкой...

А кончается тем, что они втроём песню нежно-грустную тихо и неразборчиво поют. Или опять псалом?

Смотрел я фильм, не отрываясь, удивлённый собственной не просто заинтересованностью, а зачарованностью какой-то. Потом думал: откуда она? И лица вспоминались — да, спокойные, с намёком на улыбку...

К Богу они ближе стоят, чем мы, зрячие, вдруг мелькнуло. Этим и зачаровывают. Для них всё, что они имеют и сделать могут — Божий дар несомненный. И спокойствие, и постоянная улыбка от этого именно. От близости к Богу и благодарности Ему...

* * *

Перечитал “Солнце мёртвых” Шмелёва. Не только шедевр, но и чудо! Показан с редкой силой ужас жизни, самый край её перед гибелью и одновременно прелесть её, красота, радость... И колеблется это, как на весах, и сливается почти неразличимо. И в оценке конечной сомневаешься: чего в ней, жизни этой, тебе показанной, больше — ужаса или радости?

Вещь всечеловеческого охвата и дыхания, потому, наверное, и эпопеей названа автором при весьма небольшом объёме. Прекрасные же его романы “Лето господне” и “Богомолье” на такой уровень всё-таки не поднялись. Даже в стиле и языке они уступают “Солнцу мёртвых” из-за длиннот и переизбытка слов уменьшительных. А в “Солнце мёртвых” язык отточен, как алмаз, и прямо-таки сверкает. Может, мука и ужас пережитого и изображаемого его и отточили?

* * *

В “Воине и мире” Толстой видит жизнь с высоты, как с полёта орлиного, всё замечает в ней и обо всё пишет: от мельчайшего до крупнейшего.

И как она полна, эта жизнь, и как, в конечном счёте, гармонична! Кажется, что по роману, как по плану и чертежу подробному, можно целый мир создать, и всё в нём будет на своих законных и единственных местах. И сам Толстой в пору работы над этим романом жил так полно и гармонично, как ни до, ни после уже не жил.

В “Анне Карениной” нет уже той полноты и гармонии, мир толстовский перекашивается, кренится, как лодка, черпающая бортом. И озарение веры внезапное у Левина в самом конце романа воспринимается как попытка ус-

тановить некое равновесие, устранить перекося и крен. Толстой же, как и герой его Левин, жил в это время в мучительных поисках веры, то находя её, то вновь теряя. И в жизни его никакой гармонии в ту пору не было.

В “Воскресенье” же виден нашедший свою, именно свою, личную веру Толстой, который и видит, и судит жизнь с позиции этой веры. И от этого суда всё в романе резче, уже, суше, односторонней. Конец же, последняя глава, состоящая из евангельских цитат и размышлений над ними Нехлюдова, не удовлетворяет, оставляя чувство произвольной оборванности романа. “Слишком по-богословски”, — написал о конце романа Чехов.

А вот последняя художественная вещь “Хаджи-Мурат”, над которой Толстой работал многие годы и оставил неопубликованной, есть в чём-то главным возвращение к “Войне и миру”. Тот же взгляд с высоты, но с ещё большей, та же всеохватность от солдат и крестьян до императора, и та же, в конечном счёте, гармония при резчайших контрастах внутри неё.

Поражает совпадение в судьбе Толстого и его героя Хаджи-Мурата. Оба бежали тайно, и оба обрели в итоге смерть...

* * *

Много про лень нашу русскую написано. Тут и Иванушка-дурачок, и Емеля, и Илья Муромец, который тридцать лет на печи пролежал-просидел, а потом вдруг подвиги геройские поехал совершать. И Обломов с вечным его диваном и халатом... И всегда предполагается, что лень — черта нравственная, от самого человека зависящая. Человек же волен быть то ли ленивым, то ли деятельным. Но для врача и психолога лень — объективная данность, от воли человека зависящая мало. И причин для неё много самых разных: темперамент, тип личности, гормональной системы работа...

Мнение же о лени народа в целом, высказанное даже Пушкиным: “Мы, русские, ленивы и нелюбопытны”, — тоже имеет во многом объективную, природную причину: авральность сезонной крестьянской работы в зоне рискованного земледелия и необходимость отдыха потом. А ещё и зима долгая, когда напряжённой работы почти нет.

Вышло у меня нечто оправдательное, а оправдываться-то и не в чем. Такого усилия предельного, долгого и самоотверженного, которое совершил народ в войну и первое послевоенье, не совершал, может быть, никогда ни один другой народ в мире. И такого пространства громадного и сурового не осваивал упорно, из века в век. Да и ломка “поперёк” всей жизни своей в начале и конце прошлого века — тоже занятие не для ленивых...

* * *

Тяжко и сложно сейчас России приходится, а я вот всё пишу туманные эти заметки. Но всё-таки думаю и надеюсь, что есть в них нечто от того воздуха жизни повседневной, который почти не замечаешь, но без которого не обойтись. Чем-то это песни про любовь на войне напоминает. И не до них, и без них нельзя, иначе и воевать, в конечном счёте, не за что будет. Без любви и в самом широком, и в самом узком смысле всё теряет смысл. Тогда только из-под палки можно и работать, и воевать. Да и жить, пожалуй...

Видел недавно по ТВ фильм про выборы Патриарха Тихона. Был спор, нужны ли они вообще, эти выборы. Последним выступал крестьянин, который спор и прекратил. Сказал, что народу нужно кого-то любить. Царя отняли, а Синод любить нельзя. Вот поэтому Патриарх и нужен — для любви.

* * *

Василий Розанов многие годы резко критиковал не только Церковь, но и само христианство, называя его “бессеменной” религией, угрожающей

самому существованию людей. Незадолго же до смерти изменился в этом отношении совершенно, причащался и соборовался несколько раз. Поверил, стало быть, и по-христиански, и по-церковному. Даже под письмами, в ту пору написанными, ставил: “Васька-дурак — Розанов”. Каялся как бы этим в многолетней своей глупости по отношению к христианству и Церкви. А перед самой-самой смертью, накрытый Павлом Флоренским платом с раки Сергия Радонежского, прошептал, что ему хорошо, как никогда не было в жизни.

И читал, и слышал о чём-то похожем и раньше, и казалось в первый момент, что хватаются люди за обряд церковный, как утопающий за соломинку. А потом думалось — нет, слишком уж просто, плоско так считать. Именно страдание предсмертное к озарению веры иногда приводит и к облегчению потом...

* * *

“Моя душа соткана из грязи, нежности и грусти”, — тоже Розанов. “Я ещё не такой подлец, чтобы думать о морали”, — и это он. Несовместимые, кажется, самооценки — грязь и такая моральная чистота, что о ней и беспокоиться не надо. Возможно, что считал он грязью житейские мелочи, неизбежно налипающие на человека из плоти и крови, а моралью — нечто иное, крупное, высокое, восходящее, в конечном счёте, к любви и ненависти, добру и злу. Богу и дьяволу. И вот тут-то, во втором варианте, и не чувствовал себя греховным. Да и писал, что зла людям никогда не желал и сознательно не делал, скорее предпочел бы умереть. И ведь веришь в это, не стал бы он лукавить при такой степени откровенности.

* * *

В студенчестве ещё мелькнула мысль о таком случайном совпадении атомов, при котором ты вновь возникнуть можешь точно таким, какой есть, вместе со средой окружающей. Ведь вечность для подобного совпадения в запасе, в ней всё может успеть произойти.

И вдруг недавно узнал, что существует математическая теория, по которой такое допускается. Вероятность этого неисчислимо мала, стремится к нулю, но ведь не полный нуль! Удивительно, что это бодрит даже как-то. И для убеждённых материалистов-атеистов какой-никакой, а шанс даёт. В шутку последнее написалось, но ведь и доля серьёзности тут есть. Та самая, которая к нулю стремится, но всё-таки не является им.

Если же оставить физику с математикой и к душе человеческой обратиться, то есть для атеистов и иной шанс продолжить жизнь после смерти. В заключительных строчках стихотворения, автора которого, к сожалению, не помню, он так определён: “А будет это с нами или не с нами, в конце концов, не так уже и важно”. Только ведь тогда других людей надо любить до отождествления с ними, а это уже признак веры христианской, для которой Бог и есть любовь.

* * *

Сколько ни читай исследований научно-исторических, но всё равно самый яркий и прочный отпечаток в памяти оставляют вещи художественно-исторические: “Капитанская дочка”, “Война и мир”, “Тихий Дон”... Именно здесь особенно видна сила художественности, которую ничем не превозмочь, не заменить. И если ты прочитал убедительное научно-историческое исследование, которое даёт иную картину, чем вещь художественная, всё равно со временем начинает всё сильнее вновь проступать картина художественная, оттесняя научную. Не раз такое приходилось испытывать со стран-

ным удовлетворением. Оттого, может, что живая жизнь пересиливает сухость науки и даже самой истины научной.

* * *

Везде предновогоднее многолюдье, толкотня, очереди, ёлки в мигающих, подмигивающих даже огоньках. На лицах людских оживление и надежда, которая сбывается так редко, но держится так упорно. На чем? А на священной “глупости” человеческого сердца, только бы не скудела она!

* * *

В последние годы стал замечать: возьмёшь книгу какого-нибудь прекрасного, любимого, но иностранного писателя, полистаешь, да и отложишь. Нет, своё, родное теперь нужно. Прислониться, погреться... А родней всего Пушкин, несмотря на двести почти лет после его ухода. Всё другое кругом, но суть-то глубинная осталась — русский дух, который у него самый густой, крепкий и душеполезный.

Почитал громадную (объёмистей и не видывал!) книгу Вересаева о нём, состоящую в основном из документов, писем и свидетельств современников. Немало там есть о “теневых” сторонах жизни и личности Пушкина, и это задевает за живое. Такое чувство, словно близкого, родного человека оскорбляют-обижают на твоих глазах. И надо вступить, защитить...

Потом, поостыв, думаешь, что есть там, в книге, и ошибки, и напраслина, и клевета прямая, но есть и правда, не денешься никуда. И деваться не надо. Было и было. Человеку такого накала, такой полноты жизни душевной и телесной как же без грехов? Но ведь каялся искренне и глубоко, чем прощения и заслуживает...

Главные его грехи в делах любовных лежат, но ведь их он и искупал, хотя бы частично, в своих же стихах о любви. Земную тёмную страсть возгонял снизу вверх, переплавлял в свет до самоотречения: “Я вас любил так искренно, так нежно, // как дай вам Бог любимой быть другим”. За одно это многое простить можно.

Ночью, перед тем как лечь в постель, случается иногда такая тоска зелёная. Сделаешь сгущёнки хороший глоток — и вроде бы легчает. И опять Пушкин: “Невидимо склоняясь и хладея, // мы близимся к началу своему”. Молока ведь выпил по-детски, пусть и сгущённого...

* * *

Скоро год, как сидит Украина в голове, словно гвоздь забитый. Есть и личная причина — в реестровом списке казаков Войска Запорожного (так именно) за 1754 год целых пять Убогих. И уж кто-то из них наверняка родич кровный. О теперешних же родственных связях многих что и говорить...

Тяжёлым был прошлый год для всех, и новый облегчения не обещает, а люди стали как-то пободрей и друг к другу вроде бы помягче. Сближает общая тягота и общая опасность...

* * *

Летом семьдесят второго года прошлого века жил я с женой и сыном в палатке на берегу Угры. Жуткое было лето, с жарой беспощадной, с пожарами торфяными в Подмоскowie. Но мы-то не знали, что оно жуткое, и хорошей, устойчивой погоде лишь радовались.

Пошёл в ближний посёлок Тихонова Пустынь съестного купить. Тропа торная через сосновый бор, разогретой хвоей пахнет и даже грибами лисичками. С изумлением их обнаружил при такой-то сухости и жаре...

В центре посёлка были огромная, полуразрушенная церковь и здания монастырского вида, приспособленные под какую-то мирскую нужду. Тяжело всегда было подобное видеть. Строили люди для души, для Бога, а потом в этих их строениях размещались склады, мастерские, конторы.

В магазине людей оказалось неожиданно много, и были они явными инвалидами почти все. Это ошарашило, но потом вспомнил, что в посёлке сельхозтехникум есть и именно для инвалидов. В зданиях около церкви он, скорее всего, и находился, покупатели же студентами были...

А на днях смотрел фильм из цикла “Женщины Православия” по каналу “Спас”. Та же Тихонова Пустынь, монастырь в ней восстановленный, паломники, монахи, служба. И женщина лет шестидесяти, героиня фильма. То в церкви она, то во дворе монастыря, то у святого источника, рядом с которым преподобный Тихон Калужский когда-то жил в дупле дуба, то в магазине, игрушки внуку покупающая. Очень приятная на вид, с лицом светлым, глазами чистыми и ясными. Только рук у неё нет, совсем нет — родилась такой.

Мать сразу после рождения оставила её на попечение государства и исчезла. Попечение было, как и должно быть, — детский дом, техникум для инвалидов (тот самый, что я видел когда-то), работа в местном совхозе после его окончания. Потом двое детей, рождённых вне брака, дочь и сын. Вырастила их, внука от дочери дождалась... Но как же без рук-то все это сделать? Она и объяснила: зубами, ногами, шеей, головой... И показала многое: как газ зажигает, грядки поливает, на машинке швейной шьёт, пишет с ручкой в зубах...

Если расскажут такое, не поверишь, но глазам-то своим не верить нельзя. И фактам, и детям, и внуку. И всё равно вновь спросишь, хотя бы самого себя: как же возможно такое? Ответ же она спокойно и привычно даёт: Бог помог. И преподобный Тихон Калужский. Так просто, по-свойски она ему перед его иконой сказала: “Молись, молись за нас”. И добавила подтверждающее: “Он молится, а как же!”

После фильма прикинул годы, и оказалось, что она вполне могла быть в той, такой давней магазинной очереди из инвалидов, которой я так ужаснулся...

* * *

“Лирическая обречённость” — мелькнуло как-то это выражение по радио да и запомнилось, смысла много в этих двух словах. Если лиричность в музыке или в стихах не даёт ощущения краткости, преходящести всего лучшего в жизни и оттого горечи, то будет всё сладко-сладко и скучно по этой причине. Ложка дёгтя необходима в такой бочке мёда — поменьше, побольше, совсем большая... А в жизни реальной наоборот, пожалуй, — бочку дёгтя мы чаще всего перед собой имеем, а в ней — ложка мёда, то поменьше, то побольше. И эта ложка тоже необходима, иначе б никто и жить не захотел.

Действие же лиричности на конкретного слушателя пропорция мёда и дёгтя определяет. Кому ближе и нужней горчинка в сладости, кому — сладинка в горечи.

Если же совсем широко взять, то обречённость не только лиричности свойственна, но и любви, и жизни самой. И на ней-то она как раз и держится в самой своей сути неким таинственным, парадоксальным образом. В определении любви Томасом Манном что-то похожее видится: “Любовь есть чувственная взволнованность краткосрочностью бытия”.

* * *

Гулял давным-давно ранним утром в Коктебеле, навстречу старец, с которым сидели за соседними столами в литфондовской столовой. Здоровались при случае, но и только. А тут вдруг он улыбнулся широко и сказал: “Поздравляю

вас!” Ну, у меня и мелькнуло в голове про какой-нибудь мой литературный успех, хотя ожидать в этом смысле совершенно нечего было. “С чем?” — спрашиваю. “Утро прекрасное, и мы с вами живы!” — ответил он.

И так стыдно стало мне за жалкую мою суетную мыслишку...

* * *

По ночам в корпусах коктебельского Дома писателей постоянно пишущие машинки стучали-стрекотали. И слышать это было и приятно, и успокоительно. По поговорке армейской: “Солдат спит, а служба идёт”. И вдруг днём, вдалеке от корпусов, среди сирени цветущей слышу рядом всё тот же стук-стрёкот. Оказалось, скворцы его разучили и вовсю наяривают.

Ушли машинки пишущие и как будто эпоху целую с собой унесли вслед за перьями гусиными и стальными...

* * *

Исчезают незаметно из жизни всякие-разные милые черты, ничем другим, кажется, не заменяясь. Хорошо замёрзшее окно, например. Какие узоры на нём бывали! То геометрически точные, сухие, то растительные какие-то, летние, листья папоротника напоминающие чаще всего. А сверкали они как сложно, разноцветно, алмазно, если свет на них падал! Или без узоров слой инея на стекле сероватый, ровный, как степь, и вдруг в дальней глубине искра огнистая — одна, другая, третья... Замёрзшие окна в трамваях слушались чаще всего. Сядешь к такому окну на ледяное сиденье деревянное, а в нём дырки уже протёрты-продышаны. Сам подышишь-потрёшь вдобавок и смотришь наружу с неким особенным, подглядывающим интересом...

Галоши новые очень хороши были с чернотой скользкой, блестящей снаружи и угольно-красным нутром. Украшали они прямо-таки послевоенный скудный быт. А если вдруг две-три пары таких галош оказывалось, то словно костерок теплился в углу, гаснущий уютно.

И белесый, плотный дым из трубы маленького домика был чудесен, то стоящий столбом до самого неба, то сносимый ветром так, что начинало казаться, будто домик тронулся с места и плывет куда-то, как корабль...

* * *

Если представить себе мироздание в виде пирамиды, то в основании её будет лежать неживая материя. Из этой материи зарождается жизнь. Вершина жизни — человек с его разумом, душой и духом. Суть духа в поиске Бога и обретении его. А Бог в христианском вероучении есть любовь, которая поэтому и венчает всю пирамиду бытия.

Главный закон неживой материи — закон гравитации, притяжения всех вещей материальных друг к другу. Вот и чудится здесь некая связь таинственная между материальным основанием пирамиды с её законом всемирного тяготения и её духовной вершиной, которая есть любовь.

* * *

Два у меня самых любимых места в нашем околотке: сквер с детской площадкой и двор, с которого хорошо видны купола нашей церкви Вознесения Господня. И два занятия любимых: смотреть на играющих детей и на церковные купола с крестами на фоне неба. В церковь же захожу довольно редко — дети, кресты и небо больше душе говорят.

Есть в работе Павла Флоренского “Иконостас” удивительное место об отношении преподобного Сергия Радонежского к небесной лазури: “Он по-

стиг небесную лазурь, невозмутимый, неотмирский мир, струющийся в недра ветвей совершенной любви как предмет созерцания и заповедь воплощения во всей жизни, как основу строительства и церковного, и личного, и государственного”.

Именно на небо больше всего любил в жизни смотреть. И было понятно, почему: разнообразие живое, красота, лазури небесной особенно, глубина её влекущая...

Но всё-таки постоянно оставалось в тайнике души ещё что-то о небе, не прояснённое, невыразимое, но главное. И вдруг текст Флоренского прояснил это: неотмирность небесной лазури, божественность её...

* * *

В детстве очень любил и был большой мастак с высоты в воду вниз головой прыгать — с обрывов, с деревьев прибрежных. Как только шею не свернул в славном этом занятии!

А через много-много лет сиживал подолгу на плотине нашего пруда, наблюдая, как местные пацаны прыгают в воду с высокой ограды стока. Смотрел и оторваться не мог — до блаженного ощущения, что это я сам с каждым очередным пацаном на ограду взбираюсь, стою секунду-другую, пошатываясь, а потом вниз лечу, в прохладу воды врезаюсь, выныриваю, к берегу плыву, чтобы всё повторить сначала...

Поздравляем нашего верного автора Юрия Васильевича Убогого с 75-летием!

Всё, что написано его талантливой рукой за последние двадцать лет — повести о Пушкине, Тургеневе, Чехове, Гоголе, Бунине, — напечатано в “Нашем современнике”, как и повесть “Ангелы на велосипедах” и размышления “Время вокзала”.

Юрий Убогий — лауреат многих литературных премий: Большой литературной премии компании “Алроса”, премии имени Леонида Леонова, имени Братьев Киреевских и др.

С юбилеем!